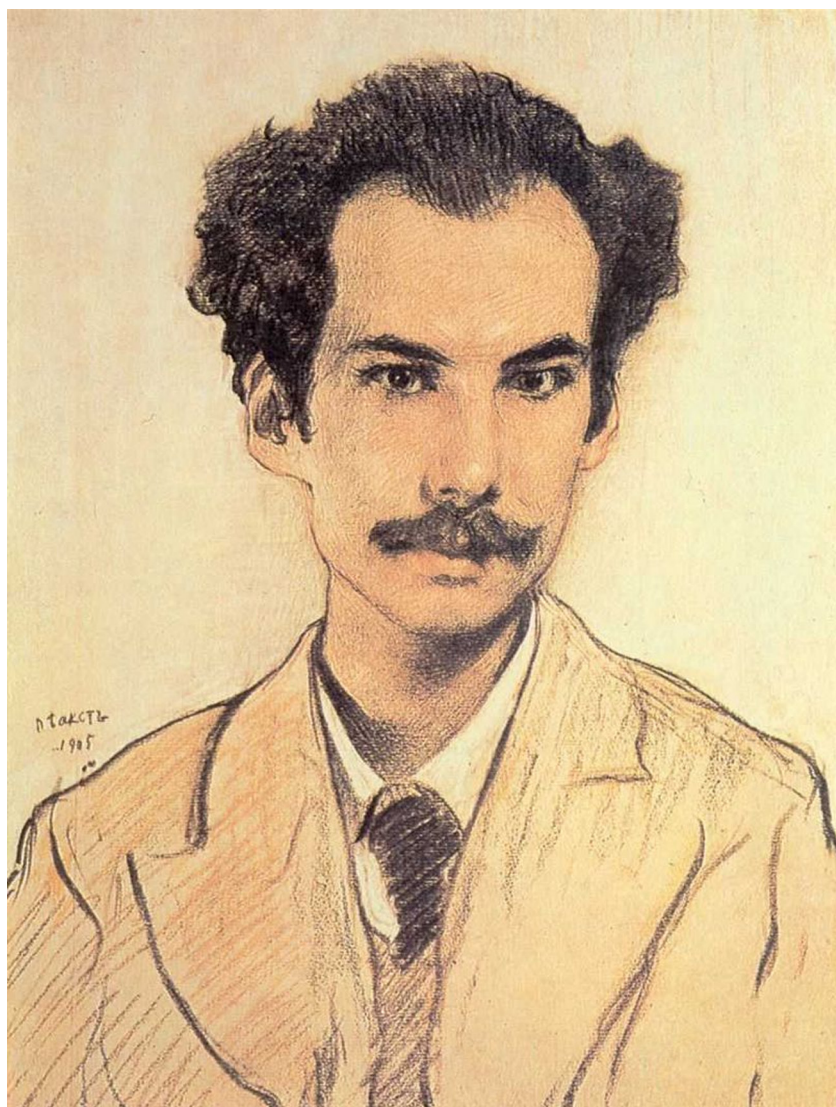


Серия
«Антология мысли»



1880—1934

А. . Белый

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

**Книга доступна в электронной библиотеке biblio-online.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Москва ■ Юрайт ■ 2019

УДК 82-94
ББК 83.3(2)
Б43

Автор:

Белый Андрей (1880—1934, наст. имя Борис Николаевич Бугаев) — писатель, поэт, критик, мемуарист.

Белый, А.

Б43 Воспоминания о Блоке / А. Белый. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 440 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-09605-7

Книга представляет читателю воспоминания Андрея Белого о другом известном русском литературном деятеле — Александре Блоке. Обе эти личности оставили значительный след в истории и литературе нашей страны начала века.

Издание содержит большое количество портретов поэтов, писателей и других известных личностей, которые входили в близкий круг Александра Блока.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего и среднего профессионального образования.

Для широкого круга читателей.

УДК 82-94
ББК 83.3(2)

Оглавление

Предисловие	7
Глава первая. Период до личной встречи	9
Первые вести	9
«И — зори, зори, зори»	11
Кружок Соловьевых	14
Первые стихи Блока	19
Письма Блока ко мне	26
Период от лета до первой встречи	35
Глава вторая. А. А. Блок в Москве	42
Первая встреча с поэтом	42
А. А. Блок и С. М. Соловьев	48
Марконетовский дом	52
Блок в Москве	58
Глава третья. Шахматово	66
1904-й год	66
Поездка в Шахматово	69
Не Эккерман!	74
Брюсов и Блок	79
Последние дни	88
Глава четвертая. Петербург	91
Жизнь в Москве	91
Стихи о Прекрасной Даме	93
В московских кружках	118
Январь	121
Сумбур	125
Петербург	129
А. А. Блок и Д. С. Мережковский	137
В казармах	147
Глава пятая. 1905 год	162
Москва. 1905 год	162
Страда	166
Ночная фиалка	180
На перевале	196
Глава шестая. «Ты в поля отошла без возврата»	200
Балаганчик	200

«Нечаянная Радость».....	205
Третий — месяц наверху — искривил свой рот.....	208
Слишком поздно!	216
Решительный разговор	220
Горячка	227
Жизнь за границей.....	239
Образцы второго тома стихов	243
«Снежная Маска»	251
Предстояние первое перед порогом.....	260
И война и пожар впереди	266
Глава седьмая. Встреча и охлаждение	270
Полемика с Петербургом	270
Примирение	280
Встреча в Киеве	286
Опять Петербург	294
Глава восьмая. Вдали от Блока	303
Философия.....	303
Московские культуртрегеры.....	312
Трагедия трезвости!.....	321
Обломки миров	330
Дух одержания.....	332
На перевале	338
Сдвиг.....	346
«Башня»	352
Глава девятая. У второго порога.....	362
Поворот к встрече	362
Случай с Минцловой.....	364
Встреча с Блоком.....	367
Блок в Москве.....	373
Время разочарований	378
В глухом ресторанчике.....	387
«Любовь и Россия» в третьем томе у Блока	398
Двойники.....	414
Новые издания по дисциплине «История отечественной литературы» и смежным дисциплинам.....	437

Предисловие

Скончался Александр Александрович Блок, первый поэт современности; смолк — первый голос; оборвалась песня песен; в созвездии (Пушкин, Некрасов, Фет, Баратынский, Тютчев, Жуковский, Державин и Лермонтов) вспыхнуло: *Александр Блок*.

Александр Александрович есть единственно «вечный» из русских поэтов текущего века, соединивший стихию поэзии нашего национального дня с мировой эпохой, преобразивший утонченность непропетого трепета тем, исключительно углубленных в звук, внятный России, раздольный, как ветер, явивший по-новому Душу России... Невнятны во внятице, внятны в невнятном его *Незнакомка*, *Прекрасная Дама*, *Россия*, *Америка Новая*, «*Скифы*», «*Двенадцать*» — реальные в символизме, универсальные в субъективности; темы — лишь ноты его темы тем, где сплетаются: мистика, философия, огненное гражданское чувство с метафорой, мифом и ритмом: понятен он специалистам, стилистам, учащейся молодежи, рабочим, всем русским, французам, германцам... Воистину, *Urbi et orbi* поэт, он есть *наш*, *исключительный*, *общий*, *любимый*, пропевший для *каждого*, для *отдельного*; и оттого средь плеяды совсем исключительных и уважаемых дарований совсем исключительный он; мы ему подарили любовь — мы сыны страшных лет, увидавшие в Музе его наш же лик в неосознанном корне, ей слитые целостность, как бы ее мы ни звали (душою ли России, душею ли всего человечества, мира...); *Прекрасною Дамой*, *Незнакомкою*, *Мэри* и «*Катькою*» разно проходит в нас целостность этой поэзии, цельной в целинных глубинах его неразгаданной, замечательной личности.

Нам, его близко знававшим, стоял он прекрасной загадкой то близкий, то дальний (прекрасный — всегда). Мы не знали, кто больше, — поэт национальный, иль чуткий, единственный человек, заслоняемый порфиroyю поэтической славы, как... тенью, из складок которой порой выступали черты благородного, всепонимающего, нового и прекрасного человека: *kalos k'agathos* — так и хочется определить сочетание доброты, красоты и правдивости, штриховавшей суровостью мягкий облик души его, не выносящей риторики, аффектации, позы, «*поэзии*», фальши и прочих «*бум-бумов*», столь свойственных проповедникам, поэтическим «*мэтрам*» и прочим «*великим*»; всечеловечное, чуткое и глубокое сердце его отражало эпоху, которую нес он в себе и которую не разложишь на «*социологию*», «*мистику*», «*философию*» или «*стилистику*»; не объяснишь это сердце, которое, отображая Россию, так билось грядущим, всечеловеческим; и, не мирясь с суррога-

тами истинно нового, не мирясь с суррогатами вечно-сущего в данном вокруг, — разорвалось: Александр Александрович, не сказав суррогатам того и другого «да будет» — задохся; «трагедия творчества» не пощадила его; мы его потеряли, как... Пушкина; он, как и Пушкин, искал себе смерти: и мы не могли уберечь это сердце; как и всегда, бережем мы лишь память, а не живую, кипящую, творчеством бьющую жизнь...

Светлы, легки лазури.
Они темны — без дна.

Лазуреющий цвет его строк, оплеснувший, как крыльями, все поколение наше, при приближении к ним начинает глубиной темнеть до... чернеющей бездны последнего, третьего тома; и до — «Двенадцати». Блок — глубиннейший русский поэт — стал, однако, поэт, общий всем: углубляются в нем струи времени нашего и человеческого, новый воистину, лик говорит без единого слова молчанием с нами; под покровом явлений молчание в Тютчеве; под покровом молчания этого — новое, косноязычное пока слово воистину нового человека, который жил в Блоке, который поэтом, владеющим магией сочетания звуков, не высказан, не вмещен; эта встреча «поэта» с Челом восходящего Века — трагедия Блока:

Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!

Человека, его понимаем: его «Книга Книг» не написана — «Голубиная Книга», «Глубинная Книга»; но текстами ненаписанной книги порою мерцала нам личность его; и заслоняла поэта; та книга напишется будущей эрой, которая выражалась в «поэте» порой в сочетаниях непримиримых, казалось, течений и веяний, нарушивших гармонию зорь и голубого налета исконного в нем романтизма, — жила в преломлениях гностической философии Владимира Соловьева, в роскошествах Фетовой лирики, соединенных с терзанием демона-человека (и Врубель, и Лермонтов), с расширением русской, «гражданской», общественной мысли, столь чуждой поэтам, могущим сказать; Блок словом сказал больше их; еще большего он не сказал: промолчал и унес; под тишиной, под поверхностью Светлого озера этой широкой души, отразившей окрестные берега русской жизни — какие кипения духа! И звоны укрытого Китежа, и клокотанье, как лавовых, струй возмущаемого душевно-духовного мира; под тихой поверхностью не стучало, а прядало красною лавою сердце его; но открылся вулкан: и — большой человек отошел.

Отзовемся и двинемся ближе к нему; постараемся распечатать, раскрывать нашу память о нем: и сотворим ему Вечную Память...

Глава первая

ПЕРИОД ДО ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧИ

Первые вести

Воспоминания об Александре Александровиче Блоке простираются вспять — далеко, пересекая громовые годы России; и упираясь в эпоху слепительных зорь, над которыми оба задумались мы.

С А. А. Блоком я был уже знаком до знакомства и первую весть об А. А. я имею от С. М. Соловьева¹ в 1898, а не то в 1897 году. В эти годы уже узнаю: родственник С. М. Соловьева, тогда еще «Саша» Блок, пишет, как все мы, стихи; и как все мы: душой отдается театру Шекспира; я знаю, что он, как и я, — гимназист; уважает он дом Соловьевых, в котором я принят; Михаил Сергеевич Соловьев, брат философа, и супруга его поощряют меня в моих странствиях мысли; необычайные отношения возникают меж нами; уж юноша 16—17 лет я дружу с маленьким Соловьевым (11—12-летним); особенно слагается близость меж мной и Ольгой Михайловной Соловьевой, художницей и переводчицей Рёскина, Оскара Уайльда, Альфреда де Виньи; в душе у О. М. перекликаются интересы к искусству с глубокими запросами к религии и мистике. О. М. любит английских прерафаэлитов (Россетти, Бёрн-Джонса), иных символистов; зачитывается Верленом и Малларме; и первая мне открывает миры Метерлинка, тогда еще всеми бранимого; выписывает художественные журналы «Jugend» и «Studio»; впоследствии — «Мир Искусства»; она обостряет и утончает мой вкус; ей обязан я многими часами великолепных, культурных пиров.

Михаил Сергеевич Соловьев был, воистину, замечательною фигурою: скромн, сосредоточен, — таил он огромную вдумчивость, проницательность, мудрость; соединял дерзновенье искателей новых путей он с дорическим консерватизмом хорошего вкуса. Он, кажется, был единственный из Соловьевых, не соблазнившийся литературною и общественной славою. Но к нему единственно прибегал Владимир Сергеевич Соловьев, с ним считаясь в кризисах своей жизни и мысли: М. С. был подлинным инспиратором Владимира Соловьева; лишь он понимал до конца степень важности теософических устремлений покойного. М. С. был вдвойне замечателен: был не менее, если

¹ Поэта, филолога, критика, ныне священника, знатока истории и церковной философии, племянника Владимира Соловьева.

не более, замечателен своего знаменитого брата, являя во внешнем и внутреннем облике полный контраст с В. С.; тихий, спокойный, уравновешенный, не блестящий во внешних явлениях жизни, не походил он на бурного и всегда блестящего брата; малорослый, голубоокий, блондин с небольшим пухлым ртом, обрамленным светлейшими белокуроыми усами и такую же кудрявой бородкой, с ясным, не вспыхивающим взглядом, и с бледным лицом, он во внешнем облике разительно отличался от огромного, темноволосого Владимира Соловьева, блещущего лихорадочно серыми, обведенными точно углем, глазами. Стоило посмотреть на двух братьев, когда они усаживались за шашки, отхлебывая чай и просиживая над столиком, чтобы увидеть огромное различие их; и вместе с тем — непередаваемую духовную общность.

Покойный М. С. Соловьев любил классиков; относился с достаточной сдержанностью к крайним теченьям искусства; но истинно новое он выделял; не разделял он насмешек по отношению к декадентству и символизму; и первый провидел поэта в Валерии Брюсове еще эпохи «Шедевров»; и — первый меня поощрял в поэтических опытах; это он настоял, чтобы явилась в печати «Симфония», за которую проклинали меня в девятисотых годах маститые сверстники М. С. Соловьева¹; я помню, что стал я таким, каким стал, — лишь считаясь с советами М. С. Соловьева. Он был моим крестным отцом: псевдоним «*Андрей Белый*» придуман был им. Помню яркое чтение М. С. Соловьева отрывков «Фрительфа» Тегнера; и помню: глубокое проникновение в Шекспира его. Стихотворения Фета, Владимира Соловьева и Тютчева никогда не открылись бы мне в такой мере, когда бы не он. М. С. чувствовал до конца мир поэзии Пушкина, Гоголя; отмечая значение Достоевского, не любил он его; еще менее выносил он творения Розанова, понимая огромности темы его; М. С. выдвинул *первый* в Москве значение Мережковского: сочиненье последнего «О Толстом и Достоевском» печаталось тогда в «Мире Искусства», глава за главой обсуждали мы сочиненье это в 1901 и 1902 годах; М. С. заинтересовал сочиненьем покойного кн. С. Н. Трубецкого, по совету М. С. пригласившего Д. С. Мережковского прочесть реферат в Московском психологическом обществе в декабре 1901 года.

В 1898 и 1899 годах мы с Сережей² восторженно относились к театру: и покушались с негодными средствами на Шекспира, устраивая в тесненьком коридоре Соловьевской квартиры «спектакли»; мы ставили сцены из «Макбета», «Годунова», «Мессинской Невесты» с участием М. С. Соловьева, бывшего у нас режиссером (я был костюмером); нас видел и В. М. Лопатин³, однажды он был режиссером у нас.

В те годы впервые услышал о Блоке я: он, гимназист, как и мы, увлекался Шекспиром; и — декламировал целые монологи из «Гамлета».

¹ Векштерн, Л. М. Лопатин, кн. С. Н. Трубецкой, В. Г. Гиацингов, Н. И. Шишкин и др.

² С. М. Соловьевым, сыном М. С. Соловьева.

³ Брат философа Л. М. Лопатина, впоследствии артист Художественного театра.

Мать А. А. Блока, А. А. Кублицкая-Пиоттух (по второму мужу), дочь тетки О. М. Соловьевой и урожденная Бекетова¹, находилась в деятельной переписке с О. М. Соловьевой; зимами вместе с А. А. проживала она в Петербурге, а летами в имении «Шахматово», в 18 верстах от станции Подсолнечная по Николаевской ж.д.², а около смежной станции Крюково (в 8 лишь верстах) находилось имение А. Г. Коваленской (матери О. М. Соловьевой, детской писательницы), где Соловьевы живали все летние месяцы; здесь бывал и Вл. Соловьев: сюда мальчиком приезжал «Саша» Блок; и впоследствии я коротал здесь все летние месяцы с С. М. Соловьевым.

Будучи в Дедове в 1898 году, слышал я много восторженных отзывов от М. В. Коваленской (кузины С. М. Соловьева) о «Саше» Блоке. Так память рисует мне первые узнавания о Блоке. Позднее по-новому воспринимаю я сочетание слов: «Александр Блок», а именно: в августе 1901 года.

«И — зори, зори, зори»

Чтобы понять тонус встречи моей с А. А. Блоком, естественно вызвать веяния, которые проносились в те годы над нами.

Для многих стиль нового века разительно отличался от века отшедшего; так: в 1898 и в 1899 годах прислушивались к перемене ветров психической атмосферы; до 1898 дул северный ветер под сереньким небом. «Под северным небом» — заглавие книги Бальмонта; оно — отражает кончавшийся девятнадцатый век; в 1898 году — подул иной ветер; почувствовали столкновение ветров: северного и южного; и при смешении ветров образовались туманы: туманы сознания.

В 1900—1901 годах очистилась атмосфера; под южным ласкающим небом начала XX века увидели мы все предметы иными; Бальмонт уже пел, что «Мы будем как солнце». А. Блок, вспоминая те годы впоследствии строчкой «И — зори, зори, зори», охарактеризовал настроение, охватившее нас; «зори», взятые в плоскости литературных течений (которые только проекции пространства сознания), были зорями символизма, взошедшими после сумерек декадентских путей, кончающих ночь пессимизма, девятисот-десятники обозначали первые грани, которые отделили их от декадентов философии Шопенгауэра; скептический иллюзионизм Бодлера не тешил; и сам Метерлинк не казался уже выразителем идеалов и вкусов.

До того — действовали: Шопенгауэр, Ибсен и Чехов; «Привидениями» висели: наследственность, рок; и «Слепыми» бродили мы в Кантовских познавательных формах; глашатаем мироощущения этого креп только Брюсов, выразивший ощущение в последующих годах:

¹ Ее отец и дед поэта известный ученый ботаник А. Н. Бекетов был ректором Петербургского университета, в здании которого А. А. Блок родился; отец А. А. был профессором Варшавского университета по кафедре права.

² Московской губернии, Клинского уезда.

Так путник посредине луга,
Куда бы он ни кинул взор,
Всегда пребудет в центре круга;
И будет замкнут кругозор.

Прежде крепи творения Чехова; Нина Заречная¹ декламировала невянтицу; да — унывал «Дядя Ваня» с Бальмонтом, ушедшим в туманы кувшинок и в шепоты камышей; чайки реяли:

Чайка, серая чайка с печальными криками носится
Над равниной, покрытой тоской.

Злая нежить бродила по маленьким действиям драмочек Метерлинка; и умирала в бреду бесполезных видений «Ганнеле». Появлялись в серьезных журналах такие статьи, как «Предсмертные мысли во Франции»²; а Андреевский пророчил, что жизнь русской лирики — кончена, что русский стих весь исчерпан³. На выставках жанры сменялись капризами безыдейного пейзажа; и сине-серые колориты зимующих сумерек, и застывшие реки, и тучи над лесом преобладали в 1897 и 1898 годах; а бледные девы с кувшинками за ушами гласили о странном, о сонно-невнятном, растущем, как тень, из углов, перед ночью. Фантазия переживалась сгустками субъективного душевного пара в космической, небытийственной бездне; и эту «бездну» вдруг вспомнили; заговорили о бездне; пел Минский о ней. Я чувствовал шопенгауэрианцем себя; принимая эстетику Рёскина, поклонялся Бёрн-Джонсу, Россетти; восточным покоем хотел переполнить свои гимназические досуги. Так: эстетизм стал мне формою освобождения от воли — к бесцельностям жизни; отрывки Ведант мне звучали как музыка; переживал я все следствия умирающего столетия, точно следствия собственной жизни; шестнадцатилетний — я чувствовал старцем себя; первая моя проповедь — проповедь буддизма и аскетизма среди Арсеньевских гимназисток, которые с уважением мне внимали; товарищи пожимали плечами, сердясь на успех мой среди барышень; но скажу откровенно я: вопреки всем толстым журналам, нас звавшим в общественность, проповедь Нирваны влияла; и — действовал Фет, выразитель Веданты в родной нам природе; в поэзии Фета природа России звучала родными и мудрыми нотами; в ней говорили закаты не об России одной; и об Индии говорили они; чуялась цельность забвения: и к ней мы тянулись; и ею учились, как йог, смеясь над журналами и называя себя «странных дел мастерами»; но в этом учении бесцельности — нарастала решимость к... чему? Скоро эта решимость сказала как воля к ниспровержению критериев отходящего века; и созерцатели недавних годов оказались анархистами, ниспровергателями кумиров: еще в 1897—1898 годах наши уши потряс смутный говор событий, которые разразились громами потом; он нам слышался, как упаданье лавины

¹ Черная «Чайка».

² Статья Гилярова в «Вопросах философии и психологии».

³ И это писалось накануне взрыва лирической жизни в России.

с далекого севера; падали драмы Ибсена; и подступал Достоевский — все ближе; и лепет верленовских строчек, Бальмонтовой лирики облетал, как цветы, в наших душах.

Безбрежное ринулось в берега старой жизни; а вечное показало себя среди времени; это вторжение вечного ощутили мы в 1898 и 1899 годах землетрясением жизни. Как нападение Вечности переживали мы разрыв времени: переживали в естественных перемещениях сознания, обозначавшего рубеж меж символизмом и эстетизмом. Тут грохотом прошумела огромная книга: «Происхождение трагедии» Ницше.

И старое отделилось от нового: и другими глазами глядели на мир в 1900—1901 годах; пессимизм стал трагизмом; и катарсис переживало сознание наше, увидевши крест в пересечении линий; эпоху, подобную первохристианской, переживали на рубеже двух столетий; античность, ушедшая в ночь, озарилась светом сознания нового; ночи смешались со светом; и краской зари озарились души под «северным небом». Смешение переживалось по-своему каждым: кто зори встречал багрянницей страдания; а кто эти зори встречал, как огонь, пожирающий старое; в эти годы Бальмонт в нас бросает «Горящие здания» — после холода мировой «Тишины» и уныний «В безбрежности»... В эти же годы босяк, поджигатель, проник в сердце русских и действовал там сильнее, чем резонирующий неврастеник у Чехова; всюду открылись поклонники философии Ницше; и лозунги «времена сократического человека прошли» — подхватили мы все; выходили тома «Собрания сочинений Вл. Соловьева», иначе вскрывавшие небо. Зарей возрождения стоит Соловьев в рубеже двух столетий, где

Зло позабытое
Тонет в крови:
Всходит омытое
Солнце любви.

Появляется вещее творенье Мережковского, где проводится мысль: перерождается состав человека; и нашему поколению предстоит возрождение иль смерть. Лозунги «Или мы, иль никто» подхватывают созерцатели отошедшего века; и действительно поднимают они новый век, переплетая последние лозунги с пророчеством Неттесгеймского мудреца, с глубокими вычислениями из «Зогара», переплетая Ибсена с Владимиром Соловьевым в признании: Третий Завет — Завет Духа.

Симптом того времени: интенсивность и целостность в восприятии зари; факт свечения, неожиданность факта и неумение обосновать этот факт атмосферы сознания, искание мировоззрительных объяснений наличности, наблюдаемого в себе и вокруг, — вот существенная черта сдвига сознания у символистов, которые оказались эмпириками, касаясь реально в них живших событий сознания; «события» просмотрели в себе тогдашние реалисты; натурализм был абстракцией прошлых переживаний сознания: органицизм в восприятии мира воистину был с символистами, этими певцами зари страшных лет; да, они оказались

пророками (им был и Блок); они верно отметили: в атмосфере душевно-духовной подул иной ветер; барометр, застывший доселе, запрыгал, рисуя зигзаги от «ясно» к «великому урагану»; и от него опять к «ясно».

Так «мистика» символистов в годах оказалась: внимательностью в наблюдении; натуралисты не наблюдали натуры сознания.

В 1900—1901 годах «символисты» встречали зарю; их логические объяснения факта зари были только гипотезами оформления данности; гипотезы — теории символизма; переменались гипотезы; факт — оставался: *заря восходила* и ослепляла глаза; в ликовании видящих побеждала уверенность; теории символистов встречали отпор; и с отпором «сократиков» явно считались; над символизмом смеялись; а втайне внимали ему: он *влил* непосредственно.

Появились вдруг «видящие» среди «невидящих»; они узнавали друг друга; тянуло делиться друг с другом непонятным знанием их; и они тяготели друг к другу, слагая естественно братство зари, воспринимая культуру особо: от крупных событий до хроникерских газетных заметок; интерес ко всему наблюдаемому разгорался у них; все казалось им новым, охваченным зорями космической и исторической важности: борьбой *света с тьмой*, происходящей уже в атмосфере душевных событий, еще не сгущенных до явных событий истории, подготавливающей их; в чем конкретно события эти, — сказать было трудно: и «*видящие*» расходились в догадках: тот был атеист, этот был теософ; этот — влекся к церковности, этот — шел прочь от церковности; соглашались друг с другом на факте зари: «нечто» светит; из этого «нечто» грядущее развернет свои судьбы.

Кружок Соловьевых

В те годы в Москве собирался кружок, очень тесно привязанный к гостеприимным М. С. и О. С. Соловьевым; в кружке этом помню, помимо хозяев и маленького «Сережи», Д. Новского (будущего католика), А. Унковскую, А. Г. Коваленскую, А. С. Петровского, братьев Л. Л. и С. Л. Кобылинских, Рачинского; здесь я встречался с Ключевским, с С. Н. Трубецким; здесь я встретился с Брюсовым, с Мережковским, с Гиппиус, с поэтессой Allegro (с Владимиром Соловьевым встречался я раньше). Всех членов кружка единил звук эпохи, раздавшийся внятно, по-разному оформляемый каждым: так тема различные допускает варианты; в вариациях расходились люди разнообразнейших бытов и возрастов: Петр Иванович д'Альгейм¹ проповедовал явление нового Моисея, способного вывести из Египта культуру; а мы с Соловьевым (Сережей) зачитывались поэзией Владимира Соловьева и бредили будущей Теократией; А. С. Петровский ждал света от сосен Сарова; Л. Л. Кобылинский (впоследствии Эллис) расстраивался между Бодлером, марксизмом и Данте.

¹ Муж известной певицы Олениной д'Альгейм, автор интересных сочинений и замечательного романа-мистерии «Les passions de maitre Villon».

Помимо кружка Соловьевых завязывались знакомства и связи: соединялись по линии неоформленных заревых устремлений, преодолевалось прошлое во имя каких-то еще не осознанных, осязаемых ценностей; в переоценке оценок сходились: гётист Э. КМетнер (впоследствии Вольфинг), поклонник В. Розанова и К. Леонтьева, А. С. Петровский, марксист Кобылинский.

Есть заметка у Александра Александровича Блока, найденная после кончины его; в ней встречается характерное место; Блок пишет: *«В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 г. или в марте 1914 г. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией: например, во время и после окончания “Двенадцати” я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный, вероятно, шум от крушения старого мира».*

В 1900—1901 годах молодежь того времени слышала нечто, подобное шуму, и видела нечто, подобное свету; мы все отдавались *стихии* грядущих годин; отдавались отчетливо слышимым в воздухе поступкам нового века, сменившим безмолвие века.

В 900-м году созерцание во мне переходит в горячку искания; Шопенгауэр разломан, через Ницше вплотную я упираюсь в себя. Через Гартмана и Вл. Соловьева вплотную придвинут к проблеме духовной; пытаюсь я соединить в своем сердце два полюса (Соловьева и Ницше); тут встречаюсь с Владимиром Соловьевым, который в ту именно пору переживал перелом: от «Оправданья добра» к пророческим «Трем разговорам»; весной я имею значительный разговор с Соловьевым, а в июле уже он скончался: а я углубляюсь в его сочинения.

Символ «Жены» стал зарею для нас (соединением неба с землею), сплетаясь с учением гностиков о конкретной премудрости, с именем новой музыки, сливающей мистику с жизнью.

В 1901 году многие зорям внимали: Э. КМетнер прослеживал тему зари в темах музыки: от Бетховена к Шуману; и далее к своему гениальному брату Н. Метнеру, вынужшему звук зари в своей первой сонате си-моль, написанной в 1901—1902 годах. З. Н. Гиппиус именно в это время писала свой яркий рассказ, где градация зорь пробегает пред нами; а мы, молодежь, — мы старались связать звук зари с зорями поэзии Владимира Соловьева; четверостишие Соловьева для нас было лозунгом:

Знайτε же, Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнушем Новой Богини
Небо слилося с пучиною вод.

«Она» — мировая душа, соединенная со словом Христа. Сочинение Соловьева «О смысле любви»¹ наиболее объясняло искания осуще-

¹ Напечатанное в «Вопросах Философии и Психологии».

ствить «соловьевство» как жизненный путь и осветить женственное начало Божественности, найти Человечество как Ипостась лика Божия. Мы, молодежь соловьевского толка, являлись лишь малою горстью людей, ощущающих зарю новой эры. «Соловьевство» нам было гипотезой оформления, а не догмой. Центр бесед — зимние вечера за чайным столом Соловьевых; здесь тесный кружок (М. С. и О. М. Соловьевы, Сережа, их сын, я и кто-нибудь из родственников) собирался почти ежедневно; велись оживленные споры по поводу последней статьи Мережковского, Розанова в «Мире Искусства»; иль — истолковывались детали той или иной статьи Соловьева; М. С. здесь высказывал планы свои о порядке издания произведений покойного брата; и приносил материал: рукописи, испещренные заметками на полях, особенно занимавшими нас: в них рукою Владимира Соловьева (измененной) набросаны были письма за подписью «S» и «Sophie»; в ряде мест обрывался трактат вставками странного содержания: рукопись сопровождало медиумическое письмо с подписями «S» и «Sophie», появляясь повсюду в черновиках творений Владимира Соловьева; оно имело вид переписки любовной; а мы задавались вопросом: общение Владимира Соловьева с «Sophie» медиумическое ли общенье с реальной женщиной или роман: непонятности духовного мира, из высей которого открывалась София философу? Мы потом обращались к поэзии Соловьева, прослеживая зависимость его эротической лирики от догматов теософии и взглядов на смыслы любви; эта странная на полях переписка меж «S» и философом нас смущала, располагая к существенно иным толкованиям сравнительно с толкованиями почтенных профессоров философии. Трансцендентное имманентно лежало в сознании Вл. Соловьева, сознание инспирируя. В истолковании «соловьевства» мы были конечно же «реалисты»; мы видели в лирике Соловьева вещание о перерождении человека и изменении органов восприятия мира. О том же гласил Мережковский, но истолковывал перерождение вовсе не так; а для нас это значило: *активное антихристианство*. А. С. Петровский отчетливо утверждал: времена приближаются; Антихрист рождается в мире, и «соловьевство», пожалуй, есть ересь; О. М. Соловьева внимала ему; я и Сережа оспаривали Петровского; а М. С. Соловьев улыбался, склоняясь над чаем. За окнами бушевала метель; и в порывах метели нам чуялись зовы восстания мертвых¹.

Естественно встречи подлинных «соловьевцев», конкретно толкующих символы, нам казались событиями; эти встречи ведь были так редки; не понимали значения сочинений — «О смысле любви» или «Трех разговоров»; да, соловьевский кружок был носителем первого конкретного «соловьевства»; философы, почитатели Соловьева (и Радлов, и Цертелев, и Лопатин с Лукьяновым, и кн. Трубецкой) очень мало вникали в волнующий смысл появления Владимира Соловьева пред миром.

¹ Переживания эти в скором времени я выразил в своем юношеском произведении: «Драматическая Симфония», написанном в 1901 году.

Помню: явление покойной Анны Николаевны Шмидт из Нижнего Новгорода осенью 1901 года; она познакомила М. С. Соловьева с кругом идей, выраженных в «Третьем Завете» и «Исповеди»; я познакомился с ней, и мы обменялись письмами.

Словом: пережили в то время все крайние выводы из соловьевской идеи; 1901 год для меня и Сережи (племянника Вл. Соловьева) прошел под вещающим знаком Соловьевской поэзии; «Симфонией» отразилась во мне она; и отразилась в С. М. Соловьеве (впоследствии крупном поэте) его молодыми стихами; мы часто с С. М. Соловьевым бывали и на могиле философа¹, переживая здесь связь с его миром идей; и потом вспоминали прекрасные строчки стихотворения «Les revenants»:

Тайною тропинкою, скорбною и милою
Вы к душе приблизились... И — спасибо вам.
Сладко мне приблизиться памятью унылою
К смерти занавешенным тихим берегам.

Бывшие мгновения поступью беззвучною
Подожли и сняли вдруг покрывало с глаз:
Видишь что-то вечное, что-то неразлучное.
И — часы минувшие, как единый час.

И покрывало спадало; и «тайной тропинкой» к мирам инспираций казалась протоптанная тропинка к могиле философа; точно он сам снимал с наших глаз покрывало над тайнами мира; встречался во сне я с покойным; и с ним разговаривал я.

Очень часто бродили мы ночью по тихим арбатским районам; в метелице чувались белые вихри грядущего; белая тень Соловьева вставала пред нами. И я, и С. М. Соловьев в эту белую, вьюжную зиму впервые охвачены были любовью: в любимых мы видели отблеск таинственной «S», посылавшей покойному Соловьеву признанья:

Не верь мгновенному: любви и не забудь.

Мы не знали — нет, нет, — что в то именно время, захваченный, как и мы, мистикой Соловьева, студент А. А. Блок, среди метелей ни с чем не сравнимой зимы, вознесенный своей молодою любовью, слагал свои строчки:

Мои огни горят на высях гор.
Всю область ночи озарили.
Но ярче всех во мне духовный взор
И ты вдали... Но ты ли?
Ищу спасенья.

Мы в Москве с напряженным вниманием искали предвестий поэзии Соловьева; и находили у Фета и Лермонтова («Нет, не тебя так пылко

¹ Похороненного в Новодевичьем монастыре.

я люблю») ощущение новой любви, в мир грядущей, не ведая, что ощущение это, высвобождаемое из-под коросты обывательской жизни, окрепло — у Блока, поэта, еще никому не известного, единственного выразителя наших дум: дум священных годов.

Май 1901 года казался особенным нам: он дышал откровением, навевая мне строчки московской «Симфонии» в перерывах между экзаменом анатомии, физики и ботаники; под покровами шуток старался в «Симфонии» выявить крайности наших мистических увлечений так точно, как Соловьев в своей шуточной драме-мистерии «Белая лилия» выявил тайны путей: парадоксальность «Симфонии» — превращение духовных исканий в грубейшие оплотнения догматов и оформления веяний, лишь музыкально доступных, в быт жизни московской¹. Мне помнится: после экзамена физики в день или в два набросал я вторую часть этой «симфонии», изображающую Москву, озаренную Троицыным и Духовым днем, — Москву, озаренную светом апокалипсических чаяний; в канун Троицына дня и в самый Троицын день написалась эта часть. В Духов день, помню я, приезжает из Дедова С. М. Соловьев; я — читаю накануне набросанную часть «Симфонии»; в окна врывается золотеющий вечер — такой же, какой он в «Симфонии»: золотой, Духов вечер; С. М. поражается описанием Новодевичьего монастыря; и он просит меня, чтобы тотчас же мы отправились с ним в монастырь: мы — отправились; золотой Духов день догорал так, как я описал накануне его: монастырь был такой, как в «Симфонии»; так же бродили монашки; стояли с С. М. у могилы покойного Соловьева; казалось, что сами ушли мы в симфонию; старое, вечное, милое, грустное во все времена приподнималось; «Симфония» есть наша жизнь; нам казалась она — впереди; мы уехали в Дедово, на другой уже день; М. С. и О. М. Соловьевым прочел я в первый дедовский вечер две части «Симфонии»; и М. С. Соловьев мне сказал: «Боря, это должно выйти в свет: вы — теперешняя литература. И *это напечатано будет*». Так в Дедове появился на свет псевдоним «*Андрей Белый*»; так третьекурсник-естественник, серьезно мечтавший недавно еще об исследованиях в области микробиологической техники, стал ныне писателем, не желая им быть.

Помню Дедово: пролетают четыре совсем незабвеннейших дня, проведенных здесь, между экзаменами; тайны вечности, гроба, казалось, приподымались в те дни. Помню ночь, которую провели мы с С. М. Соловьевым на лодке, посредине тишайшего пруда — за чтением Апокалипсиса, при свете колеблемой ветром свечи; поднимались с востока рассветы; с рассветами присоединился не спавший всю ночь к нам Михаил Сергеевич Соловьев; с ним мы медленно обходили усадьбу; остановились пред домиком, с любовью отмечая то место, где были посажены или, верней, пересажены белые колокольчики Пустыньки², о которых покойный философ писал:

¹ Впоследствии это же изображено в поэме «Первое свидание».

² Бывшего имения графа А. К. Толстого, потом ставшего именем Хитрово, где любил жить В. Соловьев и где он написал «Белые колокольчики».

Сколько их расцветало недавно,
Точно белое море в лесу.

И потом:

В грозные, знойные,
Душные дни —
Белые, стройные
Те же они.

Эти белые колокольчики — видел потом их в цвету я — являлись нам символом *белых*, мистических устремлений к грядущему. Пустынька, место таинственных медитаций Вл.Соловьева над колокольчиками воскресало здесь, в Дедове: колокольчиками, пересаженными оттуда (в 1905 году сгорел дедовский домик; и — «белые колокольчики» не цвели уже в Дедове); я написал в эти годы стихи; там встречались строчки:

Белые к сердцу цветы я
Вновь прижимаю невольно, —

здесь я разумел таинственные колокольчики Соловьева, теперь расцветшие в Дедове: белые тайны путей:

Помыслы смелые:
В сердце больном
Ангелы белые
Встали кругом.

Переживания, связанные с белыми колокольчиками, переживались в светлейшую майскую ночь, когда мы с моим другом Сережей читали над водами Апокалипсис. Утром с востока гремела тяжелая туча; и нам было грустно; в тот день я уехал в Москву: на экзамен ботаники. А через месяц, иль раньше, в Дедове появился приехавший погостить к своему троюродному брату — Александр Александрович Блок; произошла первая встреча московского кружка «соловьевцев» с поэтом, сознанием повисавшим над тем же, над чем повисали и мы.

Первые стихи Блока

В ту ни с чем не сравнимую весну уже закипали общественно наши проблемы, готовились первые заседания Петербургского Религиозно-Философского Общества (может быть, организовались); тут кружок вовсе светских писателей (Розанов, Мережковский, Минский, Успенский, А. В. Карташов и другие) встречались с ортодоксальными представителями вечной традиции: с епископами Сергием, Антонином, с отцом Михаилом¹; но к проявлениям жизни кружка относились

¹ Впоследствии старообрядческим епископом.

враждебно мы; в это же время в Москве, в Волочке собирались кружки, посвященные углублению церковных вопросов; здесь действовал миссионер Новоселов, недавно толстовец; к кружку примыкали: почтеннейший Лев Тихомиров, священник И. Фудель, епископ Никон, редактор реакционного «Троицкого листка», известнейший В. М. Васнецов и Погожев и многие другие, сносившиеся с Тернавцевым, чиновником при Синоде, истолкователем Апокалипсиса, вечно раздвоенным между новым и старым религиозным сознанием; на собраниях кружка был я несколько раз; атмосфера была реакционная; этот кружок был враждебен нам так же, как петербургский; да, мы, соловьевцы, воистину чувствовали себя далекими от повсюду слагающихся религиозных течений, стараясь нести чистоту соловьевских путей:

И — бедная, меж двух враждебных станов.
Тебе спасенья нет.

Существовал в наших чаяниях третий «*наш стан*», принимающий новые откровения Соловьева о женственности и отвергающий налет оргиазма; кто «мы»? Несколько всего человек: М. С. и О. М. Соловьевы, их сын, Новский, я, А. Петровский, впоследствии к нам примкнувший Рачинский и некоторые иные; среди них — мать А. А. Блока, поддерживающая переписку с О. М. Соловьевой. О. М. переписывалась и с Гиппиус. Содержания писем передавались за чайным столом соловьевского дома; впоследствии здесь возникла во мне очень дерзкая мысль: написать Мережковскому; я написал свой вопрос за подписью: «студент-естественник», а результатом «вопроса» явилось сближение с Мережковскими; переписка меж мною, Д. С. Мережковским и Гиппиус продолжалась весь год.

Март, апрель, май, июнь 1901 года — максимум символической мысли: созрел интерес к философии Вл. Соловьева; А. Шмидт развивала идеи парадоксальнейшего «Завета»; Д. С. Мережковский и Розанов переживали расцвет своих мыслей; Бердяев звал к личности, «Проблемы идеализма» — готовились; действовали: московский и петербургский религиозный кружки; революционеры-студенты (впоследствии деятели) — Флоренский, Свентицкий и Эрн — задумывались над религией; а Иванов, от всех отделенный, писал за границей исследование «Религия страдающего божества». Н. К. Метнер (впоследствии композитор), тогда молодой человек, вынул только что из разогретого воздуха зорь заревую огромную тему сонаты, которая, обложив ее речью, естественно выражает то именно, что выразило стихотворение Блока, написанное 4 июня в безмолвии Шахматова (под Москвой); в эти именно дни (от 3-го до 6-го июня) описывал я, среди раздолий Серебряного Колодца, как мистика Сергею Мусатову открываются образы Той, о которой писал в те же дни А. А. Блок, восклицающий, что он Ее видит и чувствует.

Упомянутые мной лица не встретились; и идеи их созревали обособленно, вынашивались мучительно: Блок был неведом; А. Шмидт

и Н. Метнер неведомы были, как Блок; никому бы не сказали фамилии: Эрн и Флоренский; Рачинский не встретился с нами.

Но встречи грядущие зрели в наполненной романтическим ожиданием *атмосфере зари*; и рождалось течение, впоследствии названное литературною школою русского символизма; та школа не думала быть вовсе школой; была эта школа мироощущением невыразимой зари; и — зари совершенно конкретной; к числу «символистов», переживавших эпоху, принадлежали и лица, впоследствии выступавшие под другими знаменами (как С. М. Соловьев, Вольфинг, Шмидт и др.); принадлежали и лица, о символизме не написавшие ни единой строки (как то: Е. П. Иванов, Н. П. Киселев, Г. А. Рачинский, А. С. Петровский); но они все вынашивали атмосферу, слагавшую символизм.

Помнится, что в июле пришло от С. М. Соловьева письмо; и оно поразило меня; в нем описан приезд в Дедово А. А. Блока, с которым С. М. Соловьев очень много скитался в полях, разговаривал на темы поэзии, мистики и философии Владимира Соловьева; с удивлением сообщил мне С. М., что А. А., как и мы, совершенно конкретно относится к теме Софии Премудрости; он проводит связь меж учением о Софии и откровением лика Ее: в лирике Соловьева; и из письма выходило: А. А. независимо от всех нас сделал выводы наши же о кризисе современной культуры и о заре восходящей; те выводы он делал резко, решительно, впадая в «максимализм», ему свойственный; выходило, по Блоку, что новая эра — открыта; и мир старый — рушится; начинается революция духа, предвозвещенная Соловьевым; а мы, революционеры сознания, приглашаемся содействовать революции; чувствовалось в письме Соловьева ко мне: появление в Дедове Блока — событие, начинающее С. М. религиозно-мистическим электричеством, которым впоследствии он так действовал на меня и которое изобразил я впоследствии в полусушительной поэме:

Не оскудела Мирликия...
А ну-ка все, кому не лень,
В ответ на дерзости такие
В Москве устроим Духов день.

Письмо Соловьева ко мне преисполнено изумлением перед смелыми выводами своего троюродного брата; упоминалось в письме о стихах, написанных Блоком. Письмо взволновало меня; оно падало на почву вполне готовую; ведь я в это лето отдал безраздельно себя соловьевскому мистицизму и перечитывал мысли «О смысле любви», углублялся в темы, таимые поэзией Лермонтова¹, Вл. Соловьева², Фета³.

¹ «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Первое января», «Из-под таинственной, холодной полумаски», «В полдневный зной в долине Дагестана» и др.

² «Три свидания», «К Сайме», «Слово увещательное к морским чертям», «Отчего это теплое южное море...» и др.

³ «Соловей и роза».

Письмо Соловьева о Блоке — событие; понял: мы встретили брата в пути.

Пробую установить окончательно время приезда А. А. к Соловьевым; и — упираюсь в сроки: от середины июня до середины июля (ни раньше, ни позже); в это время написаны Блоком стихотворения: «Предчувствую Тебя», «Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко...» (с эпиграфом из Вл. Соловьева). Писались «Historia», «Она росла за дальними горами» (посвященное С. М. Соловьеву); стихотворенье последнее, вероятно, написано в Дедове или — под впечатлением Дедова; пейзаж его — «дедовский»; пейзаж следующего стихотворения «Сегодня шла ты одиноко» — шахматовский пейзаж¹. В течение этого же лета встречаем мы у А. А. стихотворения, посвященные В. С. Соловьеву, С. М. Соловьеву; частые посвящения Соловьевым стихов красноречиво подчеркивают влияние нашего круга идей на быт мысли поэта. Беседы, которыми обменивались Соловьевы и Блок, вероятно, являлись естественным продолжением круга бесед, бывших между нами недавно: я в мае текущего года здесь был, — круга «наших» бесед, возобновленных с августа 1901 года, когда мы (т. е. Соловьевы и я) вновь встретились в арбатской квартире; с первого же посещения Соловьевых я весь погрузился в чтение стихотворений А. А.: «Предчувствую Тебя», «Ты горишь над высокой горою», «Сумерки, сумерки вешние», «Я жду призыва, ищу ответа», «Она росла за дальними горами», «Не сердись и прости», «Одинокий к тебе прихожу», «В полночь глухую рожденные», «Ищу спасенья».

Чтобы понять впечатление от этих стихов, надо ясно представить то время: для нас, внявших знакам зари, нам светящей, весь воздух звучал, точно строчки А. А.; и казалось, что Блок написал только то, что сознанию выговаривал воздух; розово-золотую и напряженную атмосферу эпохи действительно осадил он словами. Впоследствии поняли лишь красоту этих строк; и позднее еще: поняли их техническое совершенство; но первое восприятие этой поэзии — мистика, а не эстетика вовсе:

Из пламя и света
Рожденное слово —

такими словами Лермонтова я выразил бы действие на меня стихов Блока: острейшее, напряженнейшее выражение теософии Соловьева, связавшейся с жизнью, — в них было. Я выше отметил смущение, производимое на нас обращениями «S» к Владимиру Соловьеву, пестрившими черновиками его философских трактатов, где были набросаны странные, любовные строки медиумическим почерком и стояла подпись: то «S», то «Sophie»; существо только этой «S» мы разгадывали. Кто она? Женщина? Софья Петровна, с которой дружил Соловьев? Существо ли духовного мира, шептавшее тайны о новом завете? Как ему

¹ «Там, над горой Твоей высокой зубчатый простирался лес» — гора, зубчатый лес, «сомкнутый тесно»: все это признаки шахматовских окрестностей.

имя? «София — Премудрость»? Отображение ее в страсти или Ахамот, жертвенно павшая в хаос, чтобы восстать в озарении слова Господня?

Двоится твой взор, улыбается
И темнеет грозой незабытой.

Но она ж непорочна в отдании косной материи своего существа:

Ты непорочна, как снег за горами,
Ты многодумна, как зимняя ночь.
Вся ты в огнях, как полярное пламя,
Темного хаоса светлая дочь.

Обнаруживая все более и более миру свой лик, она действует взором нас любящей женщины; отношения мужчины и женщины — символ иных отношений: Христа и Софии. Мужчина логической силою освобождает павшее начало Софии Ахамот, замороженное темными безднами; все в «Ней» противится свету; двойственная «она», как Астарта (Астартою А. А. Блок называл начертание Ахамот на хаосах мира):

Но двоится твой взор, улыбается
И темнеет грозой незабытой.

Углубляясь в тему мистической философии Соловьева, мы видим ту тему «полумаской» поэзии Лермонтова; лермонтовская тема любви — есть искание вечной подруги.

Заранее над смертью торжествуя,
И цепь времен любовью одолев,
Подруга юная, Тебя не назову я, —
Но ты услышь мой перелетный пев.

Неназываемая, безымянная — повсюду рисует на безднах небесные знаки. Здесь Лермонтов чуял ее, ждал ее:

Нет, не тебя так пылко я люблю.

Маска, «кора естества», в любви Лермонтова становится уже «полумаской»; угадывается происхождение любви:

Из-под таинственной, холодной полумаски
Звучал мне голос твой, отрадный, как всегда.

Поэзия Соловьева — расколдовала любовь, художественно — религиозное творчество; муза творчества — безымянная, писавшая Вл. Соловьеву под псевдонимами «S».

В те огромные годы мы жили сознанием: переменится смысл человеческих отношений: преображается женщина в женщине; и мужчина в мужчине:

Будут страшны, будут несказанны
Неземные маски лиц...

Буду я к Тебе взывать: «Осанна!»
Сумасшедший, распростертый ниц.

Это «священное сумасшествие» — взрыв назревающей революции Духа. Поняв точку зрения нашу, поняв, что она была нами конкретно усвоена (в зорях светила улыбка Ее), становится ясным: какое значение придавали мы Блоку; и как говорили нам строчки поэзии Блока о тайнах любви:

Одинокий к тебе прихожу
Заколдован огнями любви.

Все было в них ясно; и все разумелось; но разуменье это казалось «безумием» миру; иудеям и элинам; иудеи — ортодоксальные, русские люди, а элины — либеральные вольнодумцы; среди тех и других ощущали себя мы — подпольными; и у каждого была особая своя маска: я, сын декана, считался прилежным студентом, которому проложила судьба все пути к профессуре; М. С. Соловьев признавался почтенным законодателем хорошего тона, к советам его прибегали: кн. С. Н. Трубецкой, знаменитый историк В. О. Ключевский, профессор Л. М. Лопатин, которого называли мы «Левушкой»; С. М. Соловьев, внук историка и племянник Вл. Соловьева, считался ребенком, которого назначение — поддержать традиции соловьевского дома и стать знаменитостью.

Но мы обманули надежды московского общества: я, сын математика и будущий московский профессор, ушел к «декадентам», опубликовавши «Симфонию», а М. С. Соловьев, покрывая своим одобреньем меня, уронил себя; именно в его доме сходились «подпольные» люди; и здесь окрепло течение, ниспровергающее традиции московского учебного круга.

Отсюда, из этого дома, распространилась поэзия А. А. Блока в Москве.

Первое прикосновение к первым прочитанным строчкам поэта открыло мне то, что чрез двадцать лишь лет стало ясно всем русским: что Блок — национальный поэт, связанный с той традицией, которая шла от Лермонтова, Фета и углубляла себя в поэзии Владимира Соловьева; и ясно мне стало, что этот огромный художник есть «наш» до конца¹; поднимались вопросы: как быть и как жить, когда в мире звучат строки этой священной поэзии.

Осень и зиму 1901 года мы обсуждали стихи А. А. Блока; мы ожидали все новых получек стихов; мнения наши тогда разделялись; сходились в одном: признавали значение, современность и действенность этой поэзии. Наиболее принимали ее со всех точек зрения я и С. М. Соловьев; здесь нам чуялось «вещное»; приподымалось — «заветное». Ольга Михайловна Соловьева переживала двоящийся смысл этих строк:

Но страшно мне: изменишь облик Ты.

¹ Круг этих мыслей я выразил в 1905 году в статье «Апокалипсис в русской поэзии».

Эту строчку О. М. распространяла на ряд строчек Блока; тем не менее: с восхищением неподдельным она относилась к поэзии этой. М. С. Соловьев был всех сдержанней, проливая на наши восторги порою холодную воду своею змеиной улыбкою; тем не менее: он ценил Блока; подозрительно он к нему относился, как к мистика, предполагая, что в строчках прозренье в зарю подменяется состоянием транса: М. С. Соловьев за стихами эпохи юнейшей провидел стихи из «Нечаянной радости...» Помнится, раз он сказал, склонив голову, искоса поглядывая на меня подслеповатыми большими глазами: «Сомнительно это...» Что Блок инспирирован — было ясно нам всем, но — кем? Тут-то вот и подымался вопрос.

А. А. Блок по времени первый из русских приподнял задания лирики Вл. Соловьева, осознавая огромности ее философского смысла; и — вместе с тем: доводил «соловьевство» он до предельности, до «секты» почти; пусть впоследствии говорили: здесь — крах чаяний Вл. Соловьева и болезненно эротический корень их (таковы были мнения религиозных философов С. Н. Булгакова, кн. Е. Н. Трубецкого, Г. А. Рачинского и других); все же: Блок выявил себя в Соловьеве; и без этого выявления многое в Соловьеве было б невнятным, как например, темы «Третьего Завета» и «Исповеди» Анны Николаевны Шмидт¹, естественно тяготевшей к поэзии Блока и посетившей впоследствии А. А. в Шахматове.

В декабре 1901 года произошло мое свидание с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус; с Гиппиус я обменялся мнением о поэзии Блока (если память не изменяет мне). С 1902 года между нами установилась деятельная переписка: в одном из писем ко мне З. Н. рассказывает о своей первой встрече с А. А., описывает его облик и делится впечатлением от стихов А. А., которые ей чужды, которые — пережиток эпохи; лишь в 1904 году изменила она свое мнение. Между тем: в 1902 году в Москве образовался кружок (небольшой) горячих ценителей Блока; стихотворения, получаемые Соловьевыми, старательно переписывал я и читал их друзьям и университетским товарищам; стихотворения эти уже начинали ходить по рукам; так молва о поэзии Блока предшествовала появлению Блока в печати; из первых ценителей этой поэзии назову, кроме себя и семейства Соловьевых, например: А. С. Петровского, В. В. Владимирова, П. Н. Батюшкова, М. А. Эртеля, Г. С. Рачинского, Д. Новского, А. С. Челищева, Д. И. Янчина, Е. П. Безобразову, мою мать, мою покойную тетку.

Официальные представители тогдашнего декадентства иначе совсем относились к поэзии этой: З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский решительно отвергали ее; В. Я. Брюсов — видел в А. А. дарованье, но в размерах его ошибался, предпочитая Блоку меня, Коневского, В. Гофмана;

¹ Л. Н. Шмидт вообразила себя воплощением Софии, инспирировавшей Вл. Соловьева, с которым она не была знакома (знакомство произошло незадолго до смерти философа); по ее толкованию, «S» была она.

помнится, Брюсов характеризовал в письме к М. С. Соловьеву разницу между мною и Блоком: я-де во всем пересказываюсь; и это-де идет мне; а Блок — недосказывается; для Брюсова Блок того времени — только «хороший» поэт; лишь с эпохи «Нечаянной Радости» изменяет он мнение об А. А. в сторону большей оценки; но то, что заставило Брюсова приблизиться к музе Блока, то именно вызвало в нас, первоначальных поклонниках этой музы, несправедливое отделение от нее.

Письма Блока ко мне

Всякое письмо А. А. Блока к С. М. Соловьеву прочитывалось, комментировалось и служило темой бесед; отрывки писем показывались и мне; казалось, что с А. А. мы знакомы, — тем более что он знал «Симфонию», вышедшую весной 1902 года; в «Симфонии» бралась тема поэзии Блока, но развивалась она сатирически: в намеренных парадоксах и шутках; а у Блока — звучала та тема торжественным вызовом миру; он сбрасывал «маску»; ходил в «полумаске» я; Блок, вероятно, воспринял с опасением подобное проведение темы о «Ней»: он был — «максималистом»; я — «минималистом»; различие в подавании темы, нам общей — предмет обсуждения в переписке, которая меж нами возникла.

Помнится: в первых же числах января 1903 года я написал А. А. витиеватейшее письмо, напоминающее статью философского содержания, начав с извинения, что адресуюсь к нему; письмо написано было, как говорят, «в застегнутом виде»: предполагая, что в будущем мы подробно коснемся деталей сближавших нас тем, поступил я, как поступают в «порядочном» обществе, отправляясь с визитом, надел на себя мировоззрительный официальный сюртук, окаймленный весь ссылками на философов. К своему изумлению, на другой уже день получаю я синий, для Блока такой характерный конверт с адресом, написанным четкой рукой Блока, и со штемпелем: «Петербург». Оказалось впоследствии: А. А. Блок так же, как я, возымел вдруг желание вступить в переписку; письмо, как мое, начиналось с расшаркивания: не будучи лично знаком он имеет желание ко мне обратиться, без уговора друг с другом обоих нас потянуло друг к другу: мы письмами перекликнулись. Письма, по всей вероятности, встретясь в Бологом, перекрестились; крестный знак писем стал символом перекрещенности наших путей, — от которой впоследствии было и больно, и радостно мне: да, пути наши с Блоком впоследствии перекрещивались по-разному; крест, меж нами лежащий, бывал то крестом побратимства, то шпаг, ударяющих друг друга: мы и боролись не раз, и обнимались не раз.

Встреча писем и встреча желаний, взаимный жест, встреча — меня поразила.

Внешним поводом письма Блока ко мне послужила статья моя, только что напечатанная в «Мире Искусства» («О формах искусства»). Статья — резюме двух докладов, прочитанных в студенческом О-ве

имени С. Н. Трубецкого; их мысль: форма творчества строится музыкой; внешнее выражение музыки — ритм; форма ритма есть время; градация формообразования строится по нарастанию времени; от безвременности пространственных форм к динамике бессюжетного мира симфонии; крайние точки градации: зодчество, музыка; история мира искусства есть метаморфоза моментов, сбрасывающих одеяния косного мира: грубейшее вещество, краску, слово; в музыке слышим мы генерал-бас всей культуры; в ней зерна грядущих искусств, переносящих центр тяжести от формы к самой жизни.

А. А. Блок в обстоятельном первом письме разбирает позицию моего реферата; он чутко впивается в слабый мой пункт: я существенно статьей не сказался; в ней жест — в сторону академизма, рутины; статья — полумаска; в ней я обрекаю себя на досадную двойственность: слово «музыка» берется в двух смыслах; «музыка» в обыкновенном значении не может быть «музыкой сфер», символом неизреченного в звуке, символом символов, к которому стремится культура. Символом Той, Которая одна во всех музах. Эта муза есть «музыка»: она же — София, вещающая в поэзии Соловьева; о Ней я центрально сказал уже стилем симфонии; но в статье, оробев, отступил от себя, назвав Ее музыкой (в двоящемся смысле): тут двусмысленность, подобная «инфлуэнце»; и «инфлуэнца» — «влияет»; «влияние» моей музыки есть влияние «двусмыслицы», почему отступаю я от реального смысла в двоящийся смысл, в риторический, уподобляя свои знаки слов аллегориям Мережковского, для Блока кощунственным, мертвым, подобным застывшей гримасе холодного арлекина (Erl-König'a), оплотневающего до каменной рожи, до истукана, рот рвущего в хохоте перед разливом фаллических культов; мне, призванному обнажить меч за правду Единого Имени, следует выставить на знамени Имя Рек, не опуская над именем полумаски; «музыка» моя — холодная «полумаска». Зачем обрывается на полдороге мой голос.

Вот смысл ответа А. А. на статью, напечатанную в «Мире Искусства»; письмо — изумительное сочетание: из глубоких мыслей, юмора, мистики и полемического огня: остро блещут крутые и полные мысли строки, которых за неимением их под руками, к великому сожалению, я не могу привести. Здесь А. А. выявляет себя решительным максималистом, презиравшим всякие компромиссы с терминологией отжившего мира «сократиков», которую я кокетничаю; язык мыслей моих — компромиссы; революционер Блок уличает меня.

Письмо и озадачило, и восхитило: не таким привык я видеть А. А., представляя его созерцательным, тихим, задумчивым, может, более законченным, но не способным на юмор, полемику, бойкие экстравагантные шаржи; этот юмор в соединении со скептически обостренным умом озадачил меня: озадачили, пожалуй, и несколько трезвые ноты максималиста Блока; озадачило великолепное умение вести диалектику (поэты — плохие рассудочники); я должен сказать: письма Блока всегда содержательнее, утонченнее, оригинальнее статей его.

Помнится: я написал А. А. письмо-отповедь, но содержание письма я не помню; трагедия, пронизавшая скорбью в те дни, — вырастает в воспоминании; и — заслоняет на время переписку с Блоком: болезнь и кончина М. С. Соловьева, трагическая кончина О. М. Соловьевой (все в ту же ужасную ночь), состояние сознания С. М. Соловьева, оставшегося без родителей, похороны и проводы в Киев С. М. Соловьева (где он сблизается с семьей покойного князя Е. Н. Трубецкого, профессора киевского университета); событие — разразилось, как гром; «соловьевский» кружок вдруг исчез; оборвалась и прекратилась за смертью М. С. Соловьева связь ряда людей, соединенных любовью к покойному; длился он, правда, в интимнейшей дружбе С. М. Соловьева со мной, с А. А. Блоком; следы его теплятся на воскресеньях моих: 1903—1904 года и на квартире С. М. Соловьева. Кончина М. С. и О. М. Соловьевых, конечно же, отразилась и на сознании А. А. и на А. А. Кублицкой-Пиоттух, поддерживавшей письменное общение с Соловьевыми. В эти дни получил от Блока лишь несколько строк, преисполненных ласки ко мне и соболезнующей грусти; несколько слов после нашей полемики, — первая сердечная встреча с А. А. как с родным человеком.

На похоронах Соловьевых (11 января 1903 года) я встретился с П. С. Соловьевой (*Allegro*) и с Манасеиной, приезжавшими из Петербурга на похороны; я пытался расспрашивать их об А. А., но не много успел: разговор все сворачивал на журнал «Новый Путь», первый номер которого только что, кажется, вышел; З. Гиппиус привлекала их больше, чем Блок.

В скором времени возобновилась моя переписка с А. А., продолжаясь весь год до первой встречи в Москве (в январе 1904 года).

Часть писем А. А. ко мне, думаю, могла б появиться в печати как не носящая личный характер; ее содержание — философия, литература и мистика, взятые в разрезе наших «чаяний»; часто она есть блестящий, литературный дневник, освещающий факты культуры, произведения писателей, нас; мысли Блока рисуют тончайшие кружева параллелей, характеристик, сарказмов, разорванных струями революционной романтики, свойственной нам; письма Блока ко мне интересней многих статей его; в письмах своих он — в интимном стремлении: прочесть Имя Музы своей; эти письма — «дневник», о котором так часто мечтал Блок; предлагая когда-то мне и Вячеславу Иванову издавать непрерывно «дневник трех писателей». Дневник — осуществился позднее, в «Записках мечтателей», вынужденных претерпевать ряды трудностей; стержень писем А. А. труден для понимания по теме и методу проведения темы; темы писем есть теософия Вл. Соловьева, стремительно опрокинутая в атмосферу 1900—1904 годов: то есть тема Софии, соединенной по-новому с человеком, доступная индивидуальному сознанию чутких; тема — антропософская тема; боюсь называть эту тему *антропософскою* темою; антропософия Штейнера в 1912—1920 годах была Блоку чужда; он стоял далеко от себя 1903 года; и не вникал в штейнерианство, чуждался его. Здесь отмечу: грунд-линии мировоззрения

Соловьева, естественно, совпадают с антропософией, как она декларировалась Штейнером в 1912 году.

По Соловьеву и Блоку (1901—1903 годов) отвлеченная философия умерла; но София, Премудрость, живая для древних философов, — вновь приближается к существу человека: соединяется с ним, образует с ним Новый Завет и начало завета — начало столетия. С этим бы согласился и Блок, написавший «Предчувствую тебя», и Соловьев, написавший: *«Знайτε же: вечная женственность ныне в теле нетленном на землю идет. В свете немеркнущем Новой Богини небо слилось с пучиною вод»*. Это же суть слова Штейнера при открытии Антропософского общества; антропософия исследует жизнь человека в Софии.

Могу я сказать с точки зрения антропософии и писем Блока ко мне: содержанием этих писем являлись проблемы антропософии.

В одном из тех писем особенно четко рисуется мировоззрение поэта; письму предшествовало мое; в нем, испуганный максимализмом А. А., я подробнейшим образом вопрошаю его о характере понимания им стихотворений В. С. Соловьева; я развиваю градацию своих точек зрения, и, предлагая тут много путей, этот веер путей развертываю я в ряде вопросов; А. А. понимает мою затаенную мысль: его вызвать на признание своего отношения к Софии.

Письмо начинает А. А. с удивления перед моим «психологическим вопросом»; он полагает: у меня для того есть реальные основания; отвлеченно-познавательные подходы к проблемам не интересуют его, но — «гнозис» реальный; абстрактная спекуляция о Софии кончается скепсисом; и — остается: мистический путь, взятие ее в сердце. А. А. намечает возможное соединение путей: пути умственного и сердечного в мистическом разуме; разум еще не готов; вне его мысль о Ней — спекуляция.

Далее А. А. признается: чаще всего воспринимает Ее он как веяние; печать Лица Ее — может преобразовать все предметы. Вл. Соловьеву финляндское озеро Сайма служило источником вдохновений о Ней: в стихиях воды видел он Ее Лик; Блок подчеркивает момент своего отношения к Софии: Она открывается индивидуумам; коллективному сознанию Она не доступна; индивидуум созерцает Ее, как Владычицу Мира; в мистическом восприятии Она — душа мира; но может раскрыться Она как душа человечества; и такую Она мнилась мистикам; Ее откровения могут гласить и народам; тогда выявляет душою народ себя; и русскому Она, например, — существо всей России (не таково ли было отношение к России у Гоголя); тот, кто конкретно восчувствует дуновение Ее, не имеет еще всех возможностей передать откровения массам; для этого, по выражению Блока, нам надо титанами стать иль сознательно отказаться от выражения Ее слов и облечь свое знание в метафизической спекуляции; но ни на то, ни на это А. А. не считает способными нас; наш удел — передавать в субъективно-интимных лирических излияниях Ее голос. Отсюда же явствует: поэтическому сознанию раскрыта Она, и поэты Ее принимают как музу; и Фет обращается

к Ней; и Бодлер Ее знает. Более всех в Ее тайну проник Гёте в «Фаусте»; и не сказал о Ней глубже никто. В этом смысле Она открывалась Данте. Но в чем изменилось отношение к Ее сферам? В том именно, что эти сферы расширились, переместились; так: сферы Ее полагались «там» (трансцендентно); теперь они вдвинуты в сферы сознания нашего; и Она — здесь (имманентна). В таком изменении сознания нашего Ее сознанием, обратно — вся сущность мирового переворота.

А. А. подчеркивает основные догматы христианства: троичность и непорочие зачатия — необходимо с Ней связаны; так женственное начало стоит перед нами то в символе мудрой Софии, то в символе Богоматери. Стало быть: в свете Ее дуновения догматы христианства теряют свой прежний, свой замкнутый догматический смысл; это — фазы Ее протечения в сознании нашем. Отсюда растет и потребность: раскрыть отношения Ее к символизациям: София, Мария; и во-вторых: вскрыть естественную соотносительность символов.

Наконец, А. А. Блок признает важность разницы в восприятии Ее и Христа. Христос — Добрый; и Он для всех. Она — ни добра, ни зла: «окончательно»: в окончательности — Неподвижна. Она для А. А. — значительнее Христа; и «Она» — ему ближе. В таком положении идеи Софии как бы над Христом А. А. суживает идею космичности христианства: берет христианство в одном лишь разрезе истории; его и Христос — есть Петров. Он — не Логос Иоанна: и потому-то естественно принцип «Jesus» — гипертрофирует он; принцип «Christus» естественно атрофирует; так: идея Христософии (София лишь риза Христова) — оттолкнута Блоком; Христософия — София: Христос внутри этой идеи ее, как Иисус, ограничен морально и временем; неприятием космического Христа, А. А. вкладывает логическое начало мира в Софию; Она у него неминуемо сближаема с «Мэтис» офитов; заложен соблазн; и — изменения Ее лика:

«Но страшно мне: изменишь облик Ты». Кстати замечу: изменение лика Софии встречается в двояком разрезе: в мистическом, в индивидуальном: индивидуальному сознанию А. А. она не видна уже с 1906 года — там именно, где Она проявляется в космосе («Ты в поля отошла без возврата, да святится Имя Твое»). Но зато выступает Она пред А. А. в им неузнанном, более близком аспекте: Россией, Душою Народа. И стало быть: в разбираемом мною письме ошибался А. А., будто бы откровения Ее толпам нельзя передать: именно толпы, народ принял вести о Ней, России; и Блок бард России, Блок 3-го тома, соединился с сознанием масс как народник; аспект его первый (космический мистик) — доселе еще запечатанная семью печатями тайна.

В своем замечательном, длинном послании А. А. далее останавливается на распознании Ее подлинных веяний в отличие от подмены Ее лика. — Неизменна и Неподвижна, в покое Она; времена образуют в ней круг; где движение — метаморфоза, там Лик Ее ложен: он — Майя: Ее называет Астартой А. А.; так Астарта, Луна, вечно силится заслонить Ее; это понятно, скажу от себя: ведь лежащая под ногами Ее

неживая луна отделяет от лика Софии; так лунная тень Майи дробит Ее лик: в отвлеченный и в чувственный; схоластикой мозговою и чувственным пылом переключается Астарта с расколотыми половинками нашего существа, выпадающими из конкретного целого сферы Софии; и вот: Незнакомкой бульваров и философскою Софией Астарта уводит нас в сферу луны.

Таково содержание этого замечательного письма А. А. Блока ко мне. Письмо написано, помнится, в мае-июне 1903 года.

Привожу содержание его, разбираю подробно; пусть станет наглядно, как трудно мне было бы в целом характеризовать переписку. Ведь письма написаны на особом труднейшем жаргоне, который был свойственен нам, молодым символистам; «жаргон» был сначала совсем непонятен для публики; мы это знали: и соблюдали известный «эзотеризм», умалчивая перед «внешними» о подлинном содержании наших идейных стремлений; все письма пестрелись словечками, мыслеобразами переживаний, доступных не всем. Почитайте вы «Третий Завет» А. Н. Шмидт; и там найдете ключи к очень многим вопросам тогдашнего Блока; ключи доселе понятны не всем; так, понятны С. Н. Булгакову, В. И. Иванову, Н. А. Бердяеву, св. П. А. Флоренскому: непонятны они очень многим из литературных собратий А. А. С ними он не пускался, конечно же, в сферы гностических тем.

Подчеркиваю заслоненный от всех лик тогдашнего Блока: глубокого мистика; Блока такого не знают; меж тем: без узнания Блока сколь многое в блоковской музе звучит по-иному. Поэтом, пришедшим на смену нам, этот язык наших писем звучал бы «невнятицей»; лансировали «прекрасную ясность». О ней мы не думали; если ж и думали, — думали, что достаточно было до нас этой ясности у «сократиков» упдающей навзничь культуры; «символические» туманы недолго стояли: всего десять лет; 1910-е годы стремительно бросились в 80-е, в «прекрасную ясность», не проницая «ядра» символизма: но темные ядра остались; на «ясность» ответили — взрывами футуристических глосс.

Очень темные ядра глубиннейших размышлений А. А. ничего бы не стоило мне обложить метафизикой В. Соловьева; и обнаружился б ясный костяк парадоксов, которыми мы с А. А. измеряли друг друга: что есть, говоря отвлеченно, Прекрасная Дама? В каком отношении стоит Ее лик к Теократии Вл. Соловьева? В каком отношении — церковь она? Как оформить Ее бытие: метафизикой, гностикой, Контом, теорией знания Канта? Как мыслимо рыцарство с культом Ее? Что о ней говорили Платон, Данте, Гёте? Где лик Ее светится в биографии Вл. Соловьева? Вы видите: темы огромнейшей важности, неразрешимые двум молодым символистам, «филологу» Блоку, натуралисту Бугаеву; темы стояли; и темы — стоят до сих пор; в них уткнутся опять, когда трезво позволят вновь вытащить павшую культуру Европы из тупиков, где застряла она; и Платоны, и Канты, и Данте проблем мировых не стыдились; восьмидесятники их стыдились; стыдилась «прекрасная ясность», благополучно сомкнув кругозор, чтобы наткнуться на кризис

«культуры», к перенесению которого символисты давно уже волили, выдвинув темы огромнейшей важности.

А. А. видел трезво в те годы: вопросы, встающие в нас, все вращаются около рокового вопроса: быть или вовсе не быть новой фазе в развитии человеческих отношений и в восприятии мира; свалиться или не свалиться в канаву гниющего позитивизма.

В человечестве человек строит новый свой лик: лик космический; так космическим отношениям Логоса к Хаосу, браком их может начаться космософическое возрождение сознания в антропософическом праксисе: иначе логика обернется и явит Логе; а Логе есть «Luge», или — ложь; наша «Софика» — станет сплошным пустософством: жонглерством «философутиков», погруженных телами в сплошной, безответственный хаос, а головой — в торричеллиеву пустоту коперниканского неба. Душа, сохшись в прутьях понятий, и тело, перетвердев в состояние тверже твердого тела, сломают состав человека; и поведут половинки его по различным путям, развоплощая состав человека в безъязычный «субъект» и в бесцельную кучу молекул, чтобы развеять по ветру времен человечество: кучею пыли; под Духом тогда разумели конкретную цельность мы, упраздняющую противоречия между внешним и внутренним миром. Целостность для А. А. была символом мира, Софией: и Она была — Духом нам явленным в собственном виде, вне «маски» материи и вне «маски» души; ту эпоху, которая надвигалась, А. А. признавал эрой Духа Святого, или Третьим Заветом; понятен вопрос, поднимаемый им в разбираемом мною письме: есть ли Она — Святой Дух? Так и самая София — покров; не покров ли над Духом? Ясна связь вопросов о ней у А. А. с самым догматом Троичности. За вопросами писем друг к другу стояла еще не написанная система: конкретного идеализма¹; по отношению к этой системе сам Гегель — абстрактный предтеча; в исканиях наших касались стиля системы: такая система мерещилась; в 1912 году антропософия для меня — шаг к системе; я дух ее чую. И духом ее продиктованы лучшие строчки стихотворений о Прекрасной Даме, еще не понятые философски никем: антропософской культурой дышат те строчки.

Но вместо того, чтобы жизнью сознать наши темы, и вместо того, чтоб сознательно прорабатывать импульсы чувства и мысли, мы, вынужденные таить эти темы зари, полонились поверхностным окружением эстетической жизни, пошли на зов варваров; предали тему зари: так-то канули темы в болото литературщины, утепляющей все вопросы в стакане вина, не пошли мы на выучку к Гёте и Данте; но — предпочли рецепт «Брюсовых»: в отсебятине мы утопили огромные темы.

Молчите, проклятые книги:
Я вас не писал никогда.

А. Блок

¹ Прологомены к этой системе находим: разбросанными в сочинениях Вл. Соловьева, в статьях кн. С. Н. Трубецкого «О конкретном идеализме», в статьях Рудольфа Штейнера («Goetes naturwissenschaftliche Schriften»).

Письма Блока — явление редкой культуры, и некогда письма те будут четвертою книгой стихов; здесь в поэте отчетливо разрывается лик «певчей птицы»: и ясновзорная мысль пронизывает сознание; Блок, совершенно конкретный философ, нащупывает музыкальную тему культуры, сливающей этику, социологию и эстетику в целое, тысячекратно дробимое призмами жизни. В тех письмах, в позднейших беседах и встречах есть что-то напоминающее пульсацию жизни станкевичевского кружка; но есть разница: позади всех участников этих собраний стоял уже Гегель; наш Гегель стоял перед нами: его мыслили мы; мы признавали, что Соловьев — не наш Гегель; он только — сигнал для отплытия; философия Вл. Соловьева отрезывала от прошлого; мы узнавали уже, что начало его философии первоположено в отрицательных терминах. В терминах метафизики Соловьева слышали прозвучки новой эпохи; и более — в лирике; здесь презирался нескрытым наш путь; путешествие к Золотому Руну аргонавтов.

В моей переписке с А. А. намечается явственно разность подходов к сближающей теме; я, более осторожный, чеканю формальные подступы. Максималист А. А. Блок упрекает меня; и смелейшим подходом парадоксально взрезает действительность: значит, она среди нас? Что из этого следует? Шаг, и мы — секта?

Сближение Блока с С. М. Соловьевым, тогда поливановцем-гимназистом, влияет на Блока; в С. М. — смерть родителей отразилась в особенном мистицизме; и атмосферой мистицизма влиял он на Блока; и чувствовалась особая нежность, когда А. А. в письмах касался С. М., вернувшегося из Киева только что и поселившегося в квартирке на Поварской, где мы сживали с С. М. вечерами; и говорили о Блоке; я узнал из рассказов С. М., что иные из строчек А. А. внушены его юной невестой, дочерью известного химика Менделеева, мною столь чтимого: были ведь книги его моим твердым когда-то каноном; и над «Основами химии» много просиживал я. Очень часто в вечерних свиданиях с С. М. Соловьевым участвовали: Александра Григорьевна Коваленская, бабушка С. М. и мой друг (несмотря на свой возраст она принимала «Симфонию»), но относилась к А. А. иронически-сдержанно; приходил и Рачинский (тогда опекун С. М.); помнится, что подвигалась весна; я готовился к государственному испытанию.

К Пасхе впервые в свет вышли стихи и А. А. и мои в альманахе «Северные цветы» и в альманахе «Грифа»; я вел в это время рассеянейший образ жизни, почти ежедневно бывая у Соколова (редактора «Грифа»), у Брюсова или у Бальмонта, с которым недавно я встретился; уже псевдоним мой раскрылся; и стал я известностью, но особого рода: профессора увидели во мне ренегата; в кругах «декадентов» меня баловали; мне все посвящали стихи; из Петербурга же Мережковские писали мне письма, что моя миссия с ними работать над углублением религиозных путей; голова закружилась; из тихого юноши я превратился в самоуверенного вождя молодежи; исчез Б. Бугаев; восстал Андрей Белый; о нем написали в газетах; скандалом звучало мое «Открытое письмо

к либералам и консерваторам» и публичное выступление на эстраде в Кружке; очень скоро один из доцентов сознательно силился провалить на экзамене по сравнительной анатомии не за отсутствие знаний, а только за то, что «терпеть он не мог декадентушку», и он почти достиг цели, удостоверившись, что я путаю историю эмбриологии ноздрей лягушонка, забывши учесть несомненный факт, что в процессе лягушачьего «ноздревоего» развития из четырех ноздрей получаются две; это был несомненный повод к провалу; провал не удался: в труднейшем вопросе об отношении органов кровообращения зародыша к органам кровообращения матери доцент меня сбить, как ни силился, все же не мог: и поставил мне тройку; мое положение усугублялось тем, что не мог я воззвать к председателю экзаменационной комиссии; председатель экзаменационной комиссии, мой отец, очень-очень заступчивый за студентов, не мог заступиться за сына. Доцент это знал: и на этом построил провал: четырьмя ноздрями лягушки.

Вот как относились ко мне в кругах, смежных с университетскими; всё за «Симфонию»; скоро потом один видный профессор, с младенчества знавший меня, мне не подал руки перед гробом отца А. А. Блоку пришлось тоже многое вынести; он, внук Бекетова, был, как и я, — ренегатом.

В 1903 году, в конце марта, А. А. посылает любезное приглашение мне быть невестиным шафером на свадьбе его, долженствующей состояться в июле или в августе в Шахматове; такое же точно письмо получает С. М. Соловьев. Соглашаемся мы. А весной обрывается переписка: А. А. перед свадьбою с матерью едет в Наугейм; государственные экзамены поглощают время мое; наконец, они окончены; мы с отцом собираемся ехать на Черноморское побережье. Внезапно отец умирает (от жабы грудной); переутомление, горечь внезапной утраты меня убивают; решают, что нужен мне отдых; и, уезжая в деревню, отказываюсь от участия в свадьбе. Но первая половина июня окрашена снова поэзией Блока; я помню, что в день, когда мы хоронили отца, появляется от Мережковских из Петербурга Л. Д. Семенов¹, студент, с демагогическими склонностями, реакционно настроенный, но весь проникнутый темами Блока; мы — сходимся с ним, мы видаемся с ним почти каждый день, возвращаясь снова и снова к религиозным проблемам и к нотам моей переписки с А. А.; сопоставляя их с нотами Петербургского Религиозно-Философского Общества; часто под вечер идем мы гулять, долго бродим по пыльной Москве; Новодевичий монастырь — цель прогулок; заходим туда, посещаем могилы отца, Поливанова, Владимира Соловьева, М. С. и О. С. Соловьевых, совсем еще свежие; здесь, утомленные долгой ходьбой, мы подолгу просиживаем на сыреющих лавочках — среди сирени, лампадок и пестрых цветов, расцветающих над родными могилами; часто среди утонченнейших разговоров о гробе и Вечно-

¹ Поэт, романист, впоследствии революционер, закончивший путь приятием идей Толстого и Добролюбова.

сти мы начинаем молчать, наблюдая тишайшее бирюзовое небо; оно розовеет к закату; оно рассекается визгами ласточек; в воздухе встают голоса — фисгармония — из окошка овейной зеленью кельи: какая-то там меломанка-монашенка игрывала вечерами духовные песни. Семенов и я умолкаем; и — слушаем; веяние стихотворения Блока проносится в воздухе:

У забытых могил пробивалась трава.
Мы забыли вчера, и забыли слова.
И настала кругом тишина.
Этой жизнью отшедших, сгоревших до тла,
Разве ты не жива, разве ты не светла, —
Разве в сердце твоём не весна?

Помолчавши, бывало, опять вызываем слова из молчанья: слова о последнем, о тихом, о нашем, о вовсе заветном. И звук поэзии Блока опять извлекается.

Л. Д. Семенову я благодарен за эти недели, так благостно с ним проведенные: нежно умел он развеять острую скорбь о кончине отца; приводил он к могилам меня: у могил пробивалась трава.

Период от лета до первой встречи

В августе получаю письмо от С. М. Соловьева, вернувшегося из Шахматова, со свадьбы А. А.; то письмо потрясенного: чем потрясенного, не могу понять я.

К октябрю попадаю в Москву; узнаю от С. М. о подробностях свадьбы; С. М. очень красочно, в лицах, рисует ее эпизоды; и я понимаю: С. М. поражен атмосферою свадьбы, сплотившей участников свадьбы в дни свадьбы в один коллектив; верю чуткости друга, но все ж не могу понять, что там, собственно, было, откуда взволнованность эта в С. М., этот блеск расширяемых взоров и самая интонация описания свадьбы; переживают мистерии так, а не свадьбы; прислушиваюсь; по С. М. выходило, что в Боблове, в Шахматове (имениях, где проживали жених и невеста) располагало все к тишине, к углубленному пониманию обряда венчания; обед после свадьбы какой-то особенный был; и природа была лучезарна, и — гости; состав их и отношенье друг к другу опять-таки высекали какие-то ноты поэзии Блока, какие-то ноты грядущей эпохи. Ведь вот тебе на: «эпохальная свадьба» — полушутливо подумал я, слушая повествование Соловьева; и все старался понять, что же, собственно говоря, поразило его; наконец угадал: свадьба Блока, «влюбленного в Вечность», на эмпирической девушке вызывала вопрос: кто для Блока невеста? Коль Беатриче, на Беатриче не женятся; коли девушка просто, то свадьба на «девушке просто» измена пути; право — темы поэзии Блока вызывали к догадке: какими путями духовными шел сам поэт? Ведь естественно было нам видеть монахом его, защищающимся от житейских соблазнов; а тут — эта свадьба. С другой стороны

(знали мы): в «свете Новой Богини» пучины мирские преобразятся, но как, в каких формах? Преображение мы волили; и о нем говорили; и в нас поднимался вопрос: свадьба ли это иль это — мистерия? По описанию С. М. Соловьева я понял: «*мистерия*» (что-то неопишное); так подобало; невеста Менделеева, по Соловьеву, вставала воистину существом необычным; она понимала двузначность, двусмысленность своего положения: быть невестою Блока, быть новой, дерзающей на световые пути; во-вторых, А. А. Блок понимал, понимали иные участники свадьбы: ответственность свадьбы; мне помнится, что один из участников, шафер невесты, совсем поразил Соловьева своей глубиной; он был «наш», т. е. чающий Новой Звезды; он был мистик, окончивший университет и особенно почитавший невесту; он должен был ехать в Галицию, чтобы там принять католичество, постригаясь в монахи; фамилия шафера — граф Развадовский; и он, по словам Соловьева, развил свой, особый мистический культ, углубляя который он видел «Звезду»; за «Звездою» он шел в монастырь.

Характерно: меж мной и А. А. только раз это имя отметилось; именно: при последнем свидании, весной 21-го года, пред последней московской поездкой А. А., столь несчастно оконченной; А. А. был у меня с Р. В. и с Алянским; А. А., улыбаясь, показывал мне в «Русской Мысли» гнуснейшие выходки Гиппиус против сенатора Кони и некоторых из писательской братии; он с некоторым высокомерным добродушием развертывал передо мною за «прелестью» «прелесть», и мы узнавали впервые, что мы — коммунисты, что Кони — продан; не за муку или сахар, иль чай, или спички, а — именно: за крупу он продан; узнали еще, как кокетливо примеряет ботинки одна комиссарша; но нового в сплетнях для нас вовсе не было: в ряде годин упражнялась З. Н. бескорыстным сплетением мифов; интересовал лишь цвет сплетен: *доносный*. От «Дневника» перешли к положению русских на Западе; далее к обсуждению славянских и польских вопросов; А. А. повернулся ко мне и сказал, что в Галиции (кажется) упоминается имя епископа; и что это есть граф Развадовский: «Ты знаешь, ведь это наверно *тот* Развадовский», — сказал, улыбаясь мне, Блок; и в улыбке мелькнуло: воспоминание о далеких годах, когда юные шафера Л. Д. Блок ждали новой зари; один видел «мистерию» в свадьбе; другой непосредственно после обряда пошел за «Звездой», увенчавшей епископской шапкой его.

Переживания Соловьева во время венчания Блока запомнились мне, хотя я был, признаюсь, рассеян (иное меня занимало); С. М. очень образно рисовал передо мною отца Л. Д. Блок — старика Менделеева — хаосом, сопровождающим свою светлую дочь, музу Блока, которая в юморесках С. М. была «Темного хаоса светлую дочью». «Темный хаос», подслушавший ритмы материи и начертавший пред миром симфонию из атомных весов, — был такою фигурой, которая и должна была ясно присутствовать при венчании Блока: благословляя невесту, заплакал старик Менделеев.

Запомнилась мне эта свадьба в рассказах С. М.

С этой осени и до самого окончания года пришлось отвлекаться от писем к А. А.; и от тем, с ними связанных; я отдавался изволнованной жизни кружков; все, что в прошлом таилось в «подполье», теперь выявлялось в кружках; был кружок молодых литераторов «Грифа», кружок «Скорпиона»; возник теософский кружок и кружок «Аргонатов» (мои воскресенья); наш Арго готовился плыть: и — забил золотыми крылами сердец; новый кружок был кружком «символистов» — «par excellence» символистов; поэты из «Скорпиона» и «Грифа» его посещали; бывали и теософы; ядро же «Аргонатов», не обретя себе органа, проливалось в органы «Скорпиона» и «Грифа», в «Свободную совесть», в «Теософический вестник», впоследствии в «Перевал», в «Золотое Руно» (так название «Золотое Руно» Соколов подсказал Рябушинскому, памятуя об «Арго»); позднее «аргонаты» участвовали в заседаниях «Свободной эстетики», в кружках Крахта и в «Доме песни» д'Альгеймов; объединились вокруг «Мусагета»; оттуда рассеялись в 1910 году; семилетие «аргонатизм» процветал, его нотой окрашен в Москве «символизм»; может быть, «аргонаты» и были единственными московскими символистами среди декадентов. Душою кружка — толкачом-агитатором, пропагандистом был Эллис; я был идеологом.

По воскресеньям стекались ко мне аргонаты; сидели всю ночь; кружок не имел ни устава, ни точных, незыблемых контуров; примыкали к нему, из него выходили — естественно; действовал импульс, душа коллектива — не люди; с 1903 до 1907 года «аргонатами» числились Л. Л. Кобылинский (или Эллис), С. Л. Кобылинский (философ), С. М. Соловьев, М. А. Эртель (историк), Г. А. Рачинский, В. В. Владимиров (художник), А. С. Челищев, А. С. Петровский, В. П. Поливанов, Н. И. Петровская, Батюшков, П. И. Астров, Н. П. Киселев, М. И. Сизов, В. О. Нилендер, С. Я. Рубанович, К. Ф. Крахт и другие. Роль «Арго» нам виделась в отоплении атмосферою символизма, в динамизировании движения и в разработке программы; идеи московского символизма созрели, конечно, не в декадентских «Весах», — в мифе «Арго», не бывшем нигде: но везде возникающем фантазийно (в «Весах», в «Перевале», в «Руне», в средах Астрова, на заседаниях «Эстетики», в молодом «Мусагете», в «Орфее» и даже потом в начинаньях «Духовного Знания»): помнится: в 1918 году духом «Арго» — повеяло; и — возникли мечты о журнале: «Эвоз»; опять духом «Арго» повеяло, когда мы — я, С. М. Соловьев и Нилендер, старинные «аргонаты», — участвовали в организации московского отделения «Вольфильм».

В 1903—1905 годах аргонатическим настроением дышат мои воскресенья; позднее бывали собрания — до 1910 года; здесь, кроме друзей и поэтов из «Скорпиона» и «Грифа», бывали: К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Ю. К. Балтрушайтис, С. А. Соколов, литератор Поярков, художники: Липкин, Борисов-Мусатов, Российский, Шестеркин, Феофилактов и Переплетчиков; музыканты: С. И. Танеев, Буюкли и Метнер; философы: Г. Г. Шпет, Б. А. Фохт, М. О. Гершензон, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, Г. А. Рачинский; здесь проездом бывали: В. И. Ива-

нов, Д. С. Мережковский, Д. В. Философов; бывал П. И. Астров. Среди иных посетителей упомяну академика Павлова, его жену, палеонтолога проф. И. А. Каблукова, М. К. Морозову, И. А. Кистяковского. За столом собиралось до 25 человек: музыканили, спорили, пели, читали стихи; по почину всегда одержимого Эллиса часто сдвигали столы и начинались танцы, пародии, импровизации.

«Аргонавты» восторженно относились к поэзии Блока, считая поэта своим, «аргонавтом». Впоследствии он посетил «воскресенья» мои (в свою бытность в Москве); и, вернувшись в Петербург, он прислал мне стихи, посвященные «Арго» с эпиграфом из стихов «Аргонавты» (моих) и написанные как гимн аргонавтам:

Наш Арго, наш Арго, —
Готовясь лететь,
Золотыми крылами
Забил.

(«Аргонавты» имели печать: ее Эллис в экстазе прикладывал ко всему, что ему говорило: к стихам, к переплетам, к рукописям.)

Вот стихи Блока:

Наш Арго

Андрею Белому

Сторожим у входа в терем,
Верные рабы.
Страстно верим, выси мерим,
Вечно ждем трубы.
Вечно — завтра. У решетки
Каждый день и час
Славословит голос четкий
Одного из нас.
Воздух полон воздыханий,
Грозовых надежд.
Высь горит от несмыканий
Воспаленных вежд.
Ангел розовый укажет,
Скажет — вот Она:
Бисер нижет, в нити вяжет
Вечная весна.
В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.

Стихотворенье пронизано аргонавтическим воздухом; переживанья искателей Золотого Руна отражает оно; строчки же «молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь» передают ту идею конкретного братства, которую мы пытались осуществить.

Этой осенью часто встречались — почти каждый день где-нибудь: по воскресеньям мы виделись у меня, а по вторникам собирались иные из нас у Бальмонта, по средам собирались у Брюсова, по четвергам — в «Скорпионе»; был вечер собрания у «Грифов». Совсем неожиданно «Скорпион» предъявил ультиматум сотрудникам «Скорпиона»: должны они были уйти из издательства «Гриф»; мы с Бальмонтом отвергли такой ультиматум; поэтому Брюсов косился на нас; говорили, что Гиппиус интриговала; А. А. меня спрашивал письмами, как быть ему; но узнав, что я с «Грифом», он тотчас же присоединился к слушникам, сопровождая письмо свое шуточным стихотворением, изображающим разоблачение Гиппиусовой интриги:

...Опрокинут
Зинаидин грозный щит...

И далее — «разбит»: «разбит» — Брюсов.

Аргонавтический коллектив процветал; струи жизни в нем били; а мне — было грустно; литературная ажитация утомляла меня; и я чувствовал убыль в душе темы внутренней жизни; как будто бы экскламация жизни, попытка построить на ней ритмы братства — убийственно отзывались в душе; ощущал появление словесного беса; слова тяготили; отчетливей поднимались конфликты сознания, неразгадавшего зори, от зорь отделенного испареньями душевного коллективизма; искал ноты гармонии; в воображении возникали прекрасные формы общения; все мы сидим за столом; мы — в венках; посредине плодов — чаша, крест; мы молчим, мы внимаем безмолвию; тут поднимается голос: «Се... скоро».

Такие картины всплывали; вставали вопросы, как нам подойти к совершению религиозного дела: и как его выразить в формах; попытки гармонизировать коллектив потерпели фиаско; ведь вот: не наденешь на Эллиса тоги; я, бывало, высказывал грусть свою Н. Петровской и А. С. Петровскому; первая — понимала меня, но помочь не могла; а второй меня вез к прозорливому епископу на покой, к Антонию, личности замечательной и одаренной прозрением. Антоний, вперив в меня сини зрачков, оправляя белейшую шелковистую бороду, сам принимался бросать искрометно словами; и вспыхивали сияющие недомолвки из слов; и вставало все то, о чем плакало сердце: но не было в этих сияньях венков; не было «аргонавтов»; вставали над вечным покоем упорные шепоты сосен Сарова. И после Антония ваши слова о мистерии, о соборности, о братстве казались крикливыми, явно лишёнными ритма; но я, стиснув зубы, пытался привить тихий ритм аргонавтам; «аргонавты» галдели; во внутреннем мире недавней гармонии не было, хлынули волны ветров: благодати; несли меня и принесли прямо к осени 1903 года, там бросили на холодные октябrevские камни Москвы, отлетевши бесследно: крутились столбы мерзлой пыли перед невидящим взором.

Заря убывала: то был совершившийся факт; зари вовсе не было; гасла она там в склонениях 1902 года; 1903 год был только годом воспоминаний.

И помнилось прошлое: я отдавался духовной работе; и достигались минуты покоя, в одну из минут я увидел как небо времен лучезарное с горизонта встающими тучами; голос сказал мне: «Смотри — покрывается небо; оно покидает на годы». Я осенью этой не раз возвращался к духовно увиденной пелене на годах. Но сознаться, что мы в пелене, что «мистерия» чувств не вернет благодатного времени, — нет; и я лгал себе; может быть, лгал я другим? Аргонавты мне верили; я же, смятенный, в себе замыкался.

Так ощупьями полусознанной лжи создавались те ноты измученности, от которых искал избавления я в безотчетных мечтах о мистерии с Н. И. Петровской, в беседах с Антонием и в письмах к Блоку.

С особенной нежностью я поворачивался к А. А.; так нуждался в общении с братом по духу. Я помнил, что он в очень трудном, в ответственном: в первых месяцах брачной жизни; и думалось, что не увидится такая мне близкая жизнь.

Письма А. А. были так же многосторонни, как прежде; но не было слов о подруге уже; была мягкая грусть, растерянность. Помню в одном из посланий А. А. упоминает о сплетнях, которые распространяются по поводу его брака, и восклицает, что жить ему стало и легче, и проще. В одном из тех писем он пишет о страхе: что страх перед страхом есть самый действительный страх; таким, страхом испуганным, он считает философа Канта; он все возвращается к Канту, как к испугавшемуся во веки веков; темы страха и темы Канта не раз повторяются; не оттого ли, что столетняя годовщина со смерти философа приближалась в то время, иль оттого, что вопрос о границах познания впервые решительно выступает перед А. А.; переплетение темы Канта и темы о «страхе» — весьма показательно; мысль о границе, черте — есть продукт потрясения, страха; граница сознания — тень, мной отброшенная; А. А. посвящает свои стихи Канту; рисуется Кант весь в тенях, скрещивающий и ручки и ножки; химера преследует Блока; творит он мифологему о Канте: по петербургским каналам какие-то люди везут в лодке ящик, а в ящике — Кант; он — увозится к юбилею в родной Кенигсберг подозрительными колпачниками; этот «шарж» увозимого Канта и шаловливо, и жутко выглядывает в одном из объемистых писем в нешаловливых, скорее очень грустных, страницах. Стихотворения этого времени — грустны, как приводимое:

Я на покой ушел от дня,
И сон гоню, чтоб длить молчанье...
Днем никому не жаль меня —
Мне ночью жаль мое страданье.

В ноябре 1903 года А. А. написал мне, что он и жена его собираются ехать в Москву; я, С. М. и кружок «аргонавтов» давно его ждали; но — отсрочивался приезд.

В это время издательство «Скорпион» выпускало за книгой книгу; стихи Сологуба, Валерия Брюсова, Гиппиус; «Urbi et Orbi» лежала у всех на столах; в этой книге — стихи, посвященные молодым символистам; одни — посвященные мне, завершаются строчками:

Я многим верил, я проклял многое
И мстил неверным в свой час кинжалом.

Впоследствии В. Я. Брюсов пытался осуществлять свою месть.

В стихотворении «Младшим» (с эпитафией «там жду я Прекрасной Дамы») описывается, как поэт В. Я. Брюсов прижимается к болту железной решетки, чтоб увидеть мистерию храма, увы, недоступную Брюсову; он — воскликнул:

Железные болты сорвать бы, сломать бы...
Но пальцы бессильны и голос мой тих.

Да, тут смесь подозренья, недоверия, страха ко всей нашей линии, чуждой для Брюсова; на подозрение это А. А. отвечает посланием к Музе:

Тебя, чья тень давно трепещет
В закатно-розовой пыли.
Пред кем томится и скрежещет
Великий маг моей земли.

Брюсов назван «великим» здесь магом; но слово «великий» впоследствии заменено иным словом: «суровый». Брюсова А. А. называет здесь магом не в риторическом смысле — в реальном; в то время В. Брюсов особенный интерес проявлял к спиритизму и всевозможным сортам «оккультизмов» (до самых сомнительных), интересуясь эксцессами магии и собирая «досье» оккультических фактов для зреющего в его сознании «Огненного Ангела»; А. А. был осведомлен о занятиях Брюсова, и потому он назвал его — магом. Но почему же «скрежещущий» маг? «Скрежетанье» Брюсова по отношению к А. А. и ко мне из вполне конкретных причин: «Грифа» мы предпочли «Скорпиону». В то время завязывались переговоры между А. А. и С. А. Соколовым, касающиеся издания стихотворений А. А. в книгоиздательстве «Гриф». Этот сборник выходит через год и обложку рисует Владимирова, «аргонавт» как мы все.

Наступал новый год.

Глава вторая

А. А. БЛОК В МОСКВЕ

Первая встреча с поэтом

Мне помнится: в январе 1904 года за несколько дней до поминовения годовщины смерти М. С. и О. М. Соловьевых, в морозный, пылающий день раздается звонок. Меня спрашивают в переднюю; — вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама за ним раздевается; это был Александр Александрович Блок, посетивший меня с Любовью Дмитриевной.

Поразило в А. А. Блоке — (то первое впечатление) — стиль: корректности, светскости. Все в нем было *хорошего тона*: прекрасно сидящий сюртук, с крепко стянутой талией, с воротником, подпирающим подбородок, — сюртук не того неприятного зеленоватого тона, который всегда отмечал белоподкладочников, как тогда называли студенческих франтов; в руках А. А. были белые верхние рукавицы, которые он неловко затиснул в руке, быстро сунув куда-то; вид его был визитный; супруга поэта, одетая с чуть подчеркнутой чопорностью, стояла за ним; Александр Александрович с Любовью Дмитриевной составляли прекрасную пару: веселые, молодые, изящные, распространяющие запах духов. Что меня поразило в А. А. — цвет лица: равномерно обветренный, розоватый, без вспышек румянца, здоровый; и поразила спокойная статность фигуры, напоминающая статность военного, может быть, — «*доброто молодца*» сказок. Упругая сдержанность очень немногих движений вполне расходилась с застенчиво-милым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшимся мне (он был выше меня), с растерявшимися очень большими, прекрасными, голубыми глазами, старательно устремленными на меня и от усилия разглядеть чуть присевшими в складки морщинок; лицо показалось знакомым: впоследствии, помню, не раз говорил я А. А., что в нем — есть что-то от Гауптмана (сходство с Гауптманом не поражало поздней).

Это первое впечатление подымало вопрос: «Где ты видел его?» И казалось, что должен бы был дать ответ себе: «Видел духовно, в стихах». Нет, — тот образ, который во мне возникал из стихов, соплетался сознанием с образом, возникавшим во мне неизменно: с фигурой малого роста, с болезненным, белым, тяжелым лицом, — коренастым, с небольшими ногами, в одежде, не сшитой отлично, с зажатými тонкими,

небольшими губами и с фосфорическим взглядом, вперенным всегда в горизонт, очень пристальным, очень рассеянным к собеседнику; я, разумеется, видел А. А. с перечесанными назад волосами; не думал, чтоб он был такой; просто образ во мне подымался при чтении строчек:

Ах, ночь мертва, заря долга,
Как ряд заутрен и обеден.
Ах, сам я бледен, как снега,
В упорной думе сердцем беден.

Или:

Мое болото их затянет.
Сомкнется мутное кольцо;
И, опрокинувшись, заглянет
Мой белый призрак им в лицо.

А курчавая шапка густых чуть рыжеющих и кудрявых, и мягких волос, умный лоб — большой, перерезанный легкою складкой, открытый, так ласково мне улыбнувшийся рот и глаза, голубые, глядящие вовсе не в даль с чуть сконфуженной детскостью, рост, эта статность, — нет, все это было не Блоком, давно уже жившим во мне, «Блоком» писем интимнейших, «Блоком» любимых стихов, мной затверженных уже два года. Скажу: впечатление реального Блока, восставшего посредине передней арбатской квартиры (мне Блок рисовался на фоне заневских закатов, на фоне лесов, у горы), — впечатление застало врасплох; что-то вовсе подобное разочарованию подымалось; от этого пуще сконфузился; бросился торопливо приветствовать гостя, супругу его, провяля стремительность большую, чем подобало; не по себе мне было; и мое состояние, я чувствовал, передается А. А.: он становится и любезным, светским, смущаясь смущеньем моим и выдавая смущение тем, что он мешкается в передней; вот что я почувствовал; происходила заминка, — у вешалки; я старался повесить пальто; а А. А. в это время старался запрятать в карманы свои рукавицы. Одна Любовь Дмитриевна не поддавалась смущенью; нарядная, в меховой своей шапочке, ожидала она окончания церемонии встречи.

С заминкою проходили в гостиную, где я, как мне кажется, познакомил А. А. и Л. Д. с моей матерью; все вчетвером мы уселись. Меня поразила та чуткость, с которой А. А. воспринял впечатление, которое вызвал во мне; впечатление на нем отразилось, придав всем движениям крепкой и статной фигуры его мешковатость; он внутренне затоптался, не зная, как быть, что ему говорить; молчала спокойно Л. Д., сев в сторонке и наблюдая нас; чувствовал я, что А. А. с выжидательным любопытством все ждет от меня я не знаю чего: слов ли, жестов ли, непринужденности ли (просто ждал разряднения атмосферы, в которой держал его); помню, как мы пренеловко сидели на старых потрепанных креслах оливковой нашей гостиной (в моей «Эпопее» цвет кресел описан); здесь, в этих креслах, четырнадцатилетием ранее, дедушка Блока сидел, А. Н. Бекетов, с профессорами Любимовым и Имшенецким;

я помню: седой, благодушный, с длиннейшею бородою и падающими на плечи кудрями, поглядывал он на меня, меня гладил: и — посадил на колени.

Запомнился ясный морозный денек; и запомнился розовый луч преклоненного солнца; и — розово-золотистая сеточка атмосферы, сквозь шторы залившая рыжевато-кудрявую голову Блока, склоненную набок, недоуменные голубые глаза, и застывшую принужденную улыбку, и локоть дрожавшей руки, упиравшейся неподвижно о полустертую ручку старофасонного кресла, — руки, развивавшей дымки папирасы в зарю: слов, которыми мы обменялись, — не помню, но помню, что мы говорили об очень простых, обыкновенных вещах: о А. А., о Москве, о знакомых, о «Скорпионе», о «Грифе», о Брюсове, все убеждавшем нас, чтобы мы не писали у «Грифа»; и помнится, говорили о том, что нам следует говорить основательно; вспомнили даже слегка о погоде; и улыбнулись втроем тут визитности тона — тому, что еще не умеем друг с другом мы быть; лед затаил; я бросился, совершенно некстати, анализировать тон визита: нам трудно-де выискивать тон после писем друг к другу; у каждого друг ко другу за эти-де годы — рой мыслей, мешающих непосредственно видеть.

Замечу: А. А. обо мне, верно, думал иначе; не соответствовал в письмах я «глупому» виду; в строках, посвященных мне, А. А. писал, что кому-то дано на позолоченных счетах исчислить законы времен; и понять, что — темно; моя брэнная личность была этим «кем-то»; теперь эта личность сидела пред Блоком и видом своим хоронила себя самое. Затрудняла общение разность, разительная в темпераментах (*меланхолического* в А. А., *сангвинического* во мне), затрудняли общение методы выявления на людях; и мне, и А. А. приходилось страдать от различия наших внутренних биографий и внешних; и мне, и ему приходилось утаиваться; был А. А. близок к матери, но чужд отчиму (личности благородной, прекрасной), чужд родственникам, университету, родне Любовь Дмитриевны и военной среде, проникавшей во внешние условия жизни его: ведь А. А. жил у отчима, полковника, в Гренадерской казарме. И я, в свою очередь, жил в одиночестве (за исключением Соловьевых). До двадцати почти лет не было у меня никого; развивался — «украдкой». Все налагало особую трудность в общении с людьми; наши чаянья, мысли, стихи созревали в *подполье*, которое оберегали мы оба; и нарастали на нас отложения среды, или — маски; не оттого ли так часто являются маски в поэзии Блока. Здесь — неземная, там — снежная и оттого-то в ту пору писал я о «масках». Так «Маска» — название статьи, написанной мною в этом периоде; в ней говорю: появляется среди нас «Маска», — надо быть осторожным.

— Ходили мы в «масках»; замаскированные, — встретились; замаскированные сидели в тот день.

Я в А. А. замечал в это время особый жаргон в отношении к людям: протянутость к «корню», к последнему; и вместе с тем — недоверие, настороженность, испуг перед бестактностью, в каждом живущей; да,